

ВРЕМЯ ИДЫ 81 1984

В НОМЕРЕ: ● РАССКАЗЫ БАШЕВИСА ЗИНГЕРА ● МИР ПОСЛЕ ГИТЛЕРА ● ВОЗМОЖНА ЛИ РЕЭМИГРАЦИЯ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ? ● ПОВЕСТЬ О ЕВРЕЙСКОМ ФАВОРИТЕ ● КТО БОИТСЯ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ?



Виктор Радуцкий. Разговор с "нетипичным" арабом

ВРЕМЯ и МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Десятый год издания

Выходит один раз
в два месяца

81
1984

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1984

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ЛЕВ НАВРОЗОВ
МИХАИЛ КАЛИК	ИЛЬЯ СУСЛОВ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН	ДОРА ШТУРМАН (зам.гл.редактора)
АСЯ КУНИК (отв.секретарь)	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ИЛЬЯ ЛЕВКОВ	ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отдаления: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800 PUTEAUX
FRANCE

Представители журнала:

Англия Александр Штротас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick,
Brighouae W. Yorkshire HQ6 3PZ ENGLAND

Западный Juscwa Mischijew
Берлин Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 65

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Исаак БАШЕВИС ЗИНГЕР
Четыре рассказа. Перевод В.Борисоглебского и Е.Гессен . . . 5

ПОЭЗИЯ

Иван ЖДАНОВ
Прозрачный снегопад. 74
Алексей ПАРЩИКОВ
Дитя песка, я жил ползком. 84

ПУБЛИЦИСТИКА. КРИТИКА. ИСТОРИЯ

Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Советский режим и эмигрантские прогнозы. 95
Елена ГЕССЕН
Кто боится Людмилы Петрушевской? 109
Ефим ЭТКИНД
Сумеречный мир доктора Бомгарда 120
Марк АЛДАНОВ
Мир после Гитлера 132

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Виктор РАДУЦКИЙ
Разговор с "нетипичным" арабом. 150

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Арон КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
Повесть о еврейском фаворите. 172
Федор ШАЛЯПИН
Разбитая Россия. 203

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Слово о компьютерной графике. 234



Исаак БАШЕВИС ЗИНГЕР

ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА

ЦИТАТА ИЗ КЛОПШТОКА

Баловень женщин не может не хвастать своими победами. У Макса Перского, во всяком случае, были на то основания. В литературных кругах Варшавы за ним прочно укрепилась слава неотразимого Дон Жуана. Приятели острили, что если бы он не тратил столько времени на женщин, из него мог бы получиться второй Шолом-Алейхем или еврейский Мопассан.

Разница в возрасте — он был старше меня лет на двадцать — не мешала нашей дружбе. Я не без удовольствия читал все написанное им и любил слушать его романтические истории, где, по обыкновению, он был главным героем.

В этот летний вечер мы забрались в маленькое кафе, расположенное в гуще парка, пили кофе с черничным печеньем. Солнце уже зашло, и тусклая сентябрьская луна немощно повисла над жестяными крышами домов. Но последние лучи солнца еще отражались на стеклянной двери. Душный после знойного дня воздух был полон запахов: палого листа — из лесу, свежеспеченных пирогов — из кухоньки кафе и даже теплого в пару навоза, который крестьяне свозили из конюшен и разбрасывали по окрестным полям.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

ISSN 0737-7061

Макс Перский курил одну сигарету за другой, и стоявшая перед ним пепельница давно уже была полна пепла и окурков. Хотя ему было сорок — а некоторые настаивали, что даже под пятьдесят — выглядел он совершенно молодо. У него была стройная мальчишеская фигура, иссинь-черные на свету волосы, бронзовое от загара лицо, полные, чувственные губы и особый, пронизывающий взгляд гипнотизера. Две глубокие морщины, прорезавшие по обе стороны рта его лицо, придавали его облику некую роковую загадочность. Злые языки говорили, что он не гнушался брать деньги у своих богатых любовниц и что одна из несчастных жертв даже покончила с собой.

Наша официантка, средних лет, но с совсем еще юной фигурой, пристально разглядывала Макса. Время от времени она виновато улыбалась мне, словно хотела сказать: "Ну, что ж я могу поделать? Ровным счетом ничего..." У нее был маленький носик, впалые щеки и острый некрасивый подбородок. Я обратил внимание, что на левой руке у нее не хватало среднего пальца.

Неожиданно Макс Перский спросил меня: "А что произошло с той твоей пассией, которая была на двенадцать лет старше тебя? Ты все еще встречаешься с ней?" Я собрался было ответить, но он качнув головой, продолжал:

"Есть в стареющих бабах нечто такое, чего не способна дать молодая. Когда-то я сам имел одну... Но не на двенадцать, а на тридцать лет старше меня. Когда мы встретились, мне было что-то около двадцати семи, а ей уже перевалило за пятьдесят. Была она старой девой. Давала уроки по немецкой литературе. К тому же, неплохо владела ивритом.

В те годы в семьях богатых евреев Варшавы считалось признаком хорошего тона, когда дети разбирались в поэзии Гете, Шиллера и Лессинга. Незнание их говорило о недостатке культуры. Немного иврита тоже шло на пользу. Словом, Тереза Штейн жила преподаванием. Ты, возможно, не слышал даже ее имени, но в мое время оно хорошо было известно в интеллигентных кругах. Она была буквально помешана на поэзии, что, впрочем, еще не говорило об избытке ума.

Терезу положительно нельзя было назвать красавицей. И еще это убожество обстановки. Даже просто находиться в ее бедной обители на улице Новолипки было испытанием. Все вокруг выдавало нищету. Но каким-то чудодейственным способом она все же умудрилась превратить свои убогие комнаты в некоего рода старинный девичий храм. Может быть, благодаря множеству расставленных вдоль стен книг, на которые она тратила половину заработков. Большая часть книг была в вельветовых переплетах, с золотым тиснением. Покупала она и картины.

Когда я познакомился с ней, Тереза была в полном смысле слова кошерной девственницей. Ты спросишь, с чего все началось? Для одного из рассказов мне дозарезу понадобилась цитата из "Мессии" Клопштока. Я позвонил ей, и в тот же вечер Тереза пригласила меня. К моменту моего прихода она уже разыскала нужную мне цитату, а заодно и много других. Я же принес ей первую мою книгу на идише, еще отдававшую типографской краской. Кстати, она и идиш знала прилично и даже боготворила Переца. Впрочем, кого она не боготворила? Она употребляла слово "талант" с той особой торжественностью в голосе, с какой набожный еврей произносит имя Бога.

Тереза была маленькой, кругленькой, глаза ее излучали доброту. Доброту и наивность. Подобных женщин уже трудно встретить в наши дни. Я же в то время был совсем молод и напускал на себя вид вкисившего жизнь циника. В первый же вечер я буквально лез из кожи вон, чтобы уязвить ее. Я сказал, что все поэты законченные дебилы, и объявил, что у меня связь с четырьмя женщинами сразу. В ее глазах выступили слезы. "Боже! Как вы молоды! — воскликнула она. Так молоды, так талантливы и уже так несчастны! Вы просто не ведаете, что такое настоящее чувство, и поэтому подвергаете мукам свою душу. Но рано или поздно истинная любовь придет к вам и вы станете обладателем таких сокровищ, которые откроют вам путь к Богу!"

Чтобы утешить мою исстрадавшуюся от неведения душу, она предложила мне чаю, пирог с вареньем, который испекла к

моему приходу и в довершение бокал отличного шерри-бренди.

Короче, я не слишком долго раздумывал, прежде чем начать целовать ее просто так, по привычке. Никогда не забуду выражения ее лица после первого поцелуя. Глаза ее вспыхнули странным светом. Она вцепилась в мои запястья и страстно зашептала мне в лицо: "Умоляю, не делайте этого, для меня все это слишком серьезно!" Она дрожала, заикалась, пыталась декламировать Гете. Тело ее пылало... Фактически я в тот вечер изнасиловал ее, хотя это и не совсем точно...

Я провел в ее квартире ночь и, если бы кто-нибудь смогвтиснуть в книгу все, что было мной услышано тогда, — это было бы творение гения.

Она мгновенно влюбилась в меня, и эта любовь длилась до ее последнего вздоха. Я и сейчас-то не святой, а в те годы у меня совести ни на грош не было. Для меня все это было просто шуткой.

Между тем она звонила мне каждый день по три раза. И я чувствовал, как у меня иссякает терпение изобретать бесчисленные отговорки. Впрочем, время от времени я удостаивал ее счастья видеть меня. Случалось это большей частью дождливыми вечерами, когда срывались другие randevu, и я просто не знал, куда себя деть. Каждый мой приход становился для нее праздником. Она устраивала праздничный ужин из моих любимых блюд, покупала в мою честь цветы и выряджалась в какие-то фантастические халаты и кимоно. Она осыпала меня подарками и всякий раз, когда мы были наедине, умоляла читать с ней вместе немецких классиков.

Но я не поддавался на эти штучки. С затаенным злорадством я посвящал ее в свои похождения и даже расписывал живописные ночные бордели, в которые заваливался по ночам. Она была из тех женщин, которые органически не способны свыкнуться с хамством. Но это лишь подогревало во мне желание унижать ее. Меня воротило от нежности, с которой она обращалась ко мне, от ее изысканных фраз и особенно от этих возвышенных цитат. В такие минуты мне просто доставляло удовольствие изъясняться с ней на улич-

ном жаргоне и называть все вещи своими именами.

Но она в ответ лишь повторяла: "Бог простит тебя. С тех пор как он наградил тебя талантом, ты стал его избранником!" Поистине ее невозможно было испортить, образно говоря, она и в постели оставалась девственницей. Ее чистоту и любовь к человечеству было невозможно поколебать. Есть души, которые погружены во тьму, потому что им ни разу не удалось узреть божественный свет. Я не понимал этого тогда, но я спал со святой, вроде Святой Терезы, имя которой она носила.

Она была так чиста, что вещи, которые я заставлял ее делать, ее ужасали. У меня сохранилась большая связка ее писем с размытыми пятнами чернил от ее слез — не фальшивых, настоящих. Да, в наши дни уже никто не поверит, что такая женщина может на самом деле существовать.

Между тем она старела, волосы становились белыми, и только лицо оставалось молодым, да глаза, в которых полыхали огни той первой ночи.

Наши встречи были все более редкими. Богатые евреи Варшавы постепенно утратили интерес к немецкой литературе, и заработки Терезы становились все мизернее. Но я так и не смог полностью порвать с ней. Меня не покидало чувство, что если в моей жизни что-то стрясется и кругом все отвернутся, — Тереза будет той единственной, кто всегда останется рядом, — моей матерью, моей женой, моей единственной защитой.

В отношениях со мной ее терпение не знало границ, а я, как и раньше, творил все что ни заблагорассудится. И при том всегда считал себя правым! Возможно, с другой я превратился бы в неисправимого лгуна — но не с Терезой. Ей я мог высказать любую правду, сколь бы жестокой она ни была. На все у нее был готовый ответ: "О Боже! Какой несчастный мальчик. Какой великий художник!"

А годы продолжали делать свое дело. Тереза сгорбилась, лицо ее покрылось густой сетью морщин. Она все сильнее страдала от ревматизма и теперь, когда выходила из дому, опиралась о палку. Мне было стыдно за свое дурацкое милосердие, если это можно было так называть. Но, по правде ска-

зять, я не видел выхода. Порвать с ней — означало ее убить. Она цеплялась за меня из последних сил. И только ночью, в постели преображалась и заставляла забывать о своем возрасте. Вырывавшиеся у нее в эти минуты слова, поражали меня. Однажды ночью она поклялась, что и после смерти снова явится ко мне. Не правда ли, романтично? Не хочу тебя разочаровывать, но она не сдержала своей клятвы. Впрочем, эта история только начинается".

Макс Перский замолчал и сделал знак официантке. Та тотчас подошла к нам, словно все это время только и ждала этого знака. Он положил ей руку на талию и с нежной фамильярностью сказал:

— Панна Елена, я кажется начинаю ощущать голод!

— Господи, сегодня у нас как раз то, что вы любите — борщ!

— А что бы хотел ты? — спросил меня Макс.

— Тоже борщ.

— Панна Елена, два борща...

Он снисходительно подмигнул ей, и я заподозрил, что с этой стареющей панной Еленой у него такие же отношения, какие некогда были с Терезой Штейн. Он был филантропом особого рода, чье великодушие измерялось не деньгами, а вниманием, которым он одаривал своих избранниц.

Закончив не спеша борщ, принесенный панной Еленой, Макс закурил сигарету.

"Так на чем мы остановились? — спросил он, — Да, да, годы делали свое дело. И Тереза, будучи не в состоянии ухаживать за собой, вынуждена была поселиться в пансионе, среди таких же, как она, калек и старух. Это была, действительно, трагедия, и я был не в состоянии хоть чем-то помочь ей. Ты же знаешь, что у меня никогда не было ни гроша в кармане. Я даже не мог упаковать ей вещи и взять извозчика, чтобы это осталось незамеченным. В Варшаве у нее была безупречная репутация, и ничтожная сплетня могла лишить ее последних грошей, получаемых за уроки.

Но, с другой стороны, вряд ли кто-нибудь мог представить, что Тереза способна на отношения, которые нас связывали.

После того как она перебралась в пансион, нам уже трудно было видеться. Я всегда старался приходить к ней как можно раньше и обычно прихватывал книжку, чтобы не делиться среди ее учеников. Когда она оказалась в пансионе, исчезла и эта возможность. Пансион означал конец всему. Но с такими женщинами, как Тереза, закончить было так же трудно, как начать. Она продолжала звонить по телефону и писать мне длинные послания. Мы начали встречаться в маленьких кафе на далеких окраинах Варшавы. На свидания, как и в прошлом, она никогда не приходила с пустыми руками: приносила то книгу, то галстук, иногда носовые платки или даже носки.

Между прочим, как раз в это время я крутил романчик с племянницей рабби Вяла, по имени Нина. По-моему, я тебе уже рассказывал об этой Нине. Она ушла из дома своего дяди и пробовала заняться в Варшаве живописью.

Она угрожала своему дядюшке, что, если он откажется давать ей деньги, она примет католичество. По правде говоря, эта Ника была полусумасшедшей. Она устраивала мне дикие сцены ревности, обрушиваясь на тех, кого меньше всего можно было заподозрить. Каждые две-три недели она пыталась покончить с собой. До нашей с ней встречи я никогда не поднимал руку на женщину. Но чтобы в разгар ее истерик привести ее в чувство, существовал только один способ — вклеить оплеуху. Она и сама это, по-моему, понимала.

Так вот, когда она откалывала свои номера, рвала на себе волосы и с диким хохотом пыталась выброситься из окна, — я не находил другого лекарства, кроме как смазать ей по физиономии. И это действовало, как бальзам. Получив свое, она осыпала меня поцелуями. Но все это лишь до следующей истерики. Ты же знаешь, что я умею себя вести с женщинами. Но своими сценами Нина буквально изводила меня. Когда она видела меня с женщиной, она, как базарная торговка, вцеплялась ей в волосы. Она отводила от меня всех моих девочек. Избавиться от этой истерички не было никакой возможности. Ко всему прочему, она вечно носила с собой яд. Поверь, я впал в отчаяние, и, не зная, куда себя деть, решил сесть за

пьесу — одну из тех, что позже похоронили в Центральном театре.

Однажды вечером Нина заявила, что намерена навестить своего дядю. О своих планах она по обыкновению молчала до последней минуты, чтобы у меня не оставалось времени назначить randevu. Ненормальные вообще очень хитры. В тот вечер, узнав, что она уезжает, я тотчас засел за телефон обзванивать своих подруг. Но мне определенно невезло. У каждой из них как назло что-то в этот вечер случилось. Одна уезжала по срочному делу, другая свалилась с простудой, в те дни в Варшаве как раз свирепствовал грипп. Между тем я уже много раз обещал Терезе увидеться с ней и всякий раз откладывал. Теперь представился удобный случай.

Я позвонил ей и пригласил ее вместе пообедать в тихий пригородный ресторанчик. После этого я собирался повезти ее к себе. Хотя многие годы она была моей любовницей, вела она себя всякий раз, как шестнадцатилетняя невинность. Краснея, она долго объясняла хозяйке пансиона, почему в эту ночь — при всем желании — ей не удастся вернуться домой. Говоря со мной по телефону, она была так встревожена, так вздыхала и охала, что я уже пожалел, что затеял всю эту историю. Она никогда много не ела, но в этот вечер вообще ни к чему не притронулась. Я бросил на нее случайный взгляд: передо мной сидела сгорбленная высохшая старушка. Приблизившийся к столу официант в недоумении спросил: "А отчего ваша мама ничего не кушает".

Признаться, мне стало немного не по себе. После того как я опустошил свою тарелку, она попросила проводить ее домой. Наверное, так и надо было сделать, но я-то знал, что, если я последую ее просьбе, это добьет ее окончательно. К тому же из ее приоткрывшейся сумки выглядывала шелковая ночная комбинация. Я стал ее уговаривать, и она в конце концов сдалась. Неприятно видеть, когда даже молодые ломаются, но когда седая старуха ведет себя как испуганная овечка, — это и смешно и трагично одновременно.

Мы долго поднимались по моей темной лестнице, пока наконец не миновали все три пролета, и всякий раз из-за отдыш-

ки она останавливалась, чтобы передохнуть. Но даже на этот раз она не забыла о подарке, вручив мне теплую шерстяную пижаму. Я сделал чаю и, чтобы поднять ей хоть немного настроение, налил ей рюмку коньяку. Она отказалась пить и после долгих колебаний и всяческих извинений, продеklamировав что-то из "Фауста" и "Книги песен" Гейне, она робко приблизилась к постели. Я был уверен, что уж на этот раз рядом с ее высохшим старушечьим телом во мне ничто не шелохнется, но у секса свои причуды. И это произошло, как происходило у нас всегда. После этого мы заснули, и я про себя решил, что эта ночь должна стать последней в нашей несчастной связи... Мне показалось, что даже она подумала о том же...

Проснулся я с кошмарным ощущением. Вначале я никак не мог понять, кто это рядом со мной в постели. В какое-то мгновение я подумал, что это Нина. Я протянул руку и прикоснулся к чему-то холодному. И тотчас понял, что произошло: Тереза была мертва. Я до сего дня не знаю, как это случилось: то ли она почувствовала недомогание и пыталась меня разбудить, то ли просто умерла во время сна.

Я видел в жизни много трагедий, но никогда не переживал подобного ужаса. Первой моей мыслью было вызвать скорую помощь. Но на завтра вся Варшава будет знать, что Терезу Штейн нашли мертвой в постели у Макса Перского. Я думаю, что если бы даже Папу Римского похитили с мансарды на улице Крохмальна, то даже это не могло бы сравниться с подобной сенсацией. Нет ничего ужаснее, чем предстать идиотом в глазах окружающих — одна половина Варшавы меня бы проклинала, а другая бы втихомолку потешалась.

Когда я включил лампу и бросил на нее взгляд, то оторопел от ужаса: она выглядела не на семьдесят, а на все девяносто. Я готов был удрать на край земли, чтобы никто не узнал правды о том, что произошло. Но я истратил все до последнего гроша в ресторане и на извозчика. Похоже, что этот поход ко мне и подъем по лестницам докончили ее. Фактически я совершил убийство, хотя и сделал это из милосердия.

Включив все лампы и прикрыв труп одеялом, я размышлял над всей нелепостью и трагизмом своего положения — не прикончить ли заодно и самого себя? Появление рядом еще одного трупа создало бы впечатление двойного самоубийства. Но меня ужасало, что будут говорить окружающие после того, как я отправлюсь на тот свет. Людская молва — не любовь, она посильнее смерти!

Между тем стрелки на часах показывали десять минут четвертого. В замешательстве, не зная, куда себя деть, я проклинал день и час, когда появился на свет. В это мгновение за дверью раздался звонок. У меня не было сомнений, что это полиция, они вполне могли обвинить меня в преднамеренном убийстве. Я замер, звонки становились все настойчивее. Не оставалось сомнений, что еще минута, и они взломают дверь. Даже, не спрашивая, кто там, я открыл дверь: передо мной красовалась Нина! Видите ли, опоздала на последний трамвай! Впрочем, она и на самом деле была крупным специалистом по разного рода опозданиям — на трамваи, в театры, на randevu. Итак, ей не на чем было ехать, и в полночь ее охватило страстное желание увидеть меня..."

Как это ни странно, но я ей страшно обрадовался. Остаться наедине с трупом было так ужасно, что уже ничто не шло с этим в сравнение,

Нина спросила, отчего это горят все лампы и, стремительно взглянув на кровать, воскликнула: "Смотрите, он даже не собирается ее прятать!" Она подлетела к кровати и собиралась было сорвать одеяло, но я схватил ее за руки и вскричал: "Не смей, под одеялом труп!" По выражению моего лица она поняла, что это чистая правда. Я ждал, что она поднимет неимоверный шум, начнет будить соседей. Обычно, чтобы закатить истерику ей достаточно было увидеть мышонка. Но, к моему удивлению, ее вдруг охватило спокойствие, казалось, она вмиг излечилась от своего сумасшествия. Она переспросила: "Труп? Чей труп?" Когда я ей сказал, что это Тереза Штейн, она весело засмеялась, но не своим истерическим хохотом, а как смеется вполне нормальный человек веселой

шутке. Я сказал: "Нина, это не шутка, Тереза Штейн действительно умерла в моей постели!"

Ей было знакомо это имя, как оно было знакомо всей интеллигентной Варшаве, но она никак не могла поверить в то, что услышала, пока я не открыл сумочку Терезы и не показал Нине ее паспорт. По правилам, при русских все должны были иметь при себе паспорт — и мужчины, и женщины.

Макс Перский замолчал.

— Но почему же ты никогда не выбрался обо всем этом написать? — спросил я.

— Никому на свете не известна эта история, — проговорил он. — Еще живы многие, кто знал Терезу Штейн.

Он снова зажег сигарету. Стояла ночь. Над нами, словно надраенная медь, горела желтая луна.

— Ах, какой мог бы получиться рассказ! — продолжал я.

— Возможно, придет день, и я напишу — на старости лет, когда в Варшаве забудут имя Терезы Штейн. Впрочем, я думаю, что это будет довольно скоро. Но дай мне все же закончить. Итак, Нина согласилась помочь мне и даже предложила свой план. С этим ее планом мы вполне могли оказаться в Сибири или даже на виселице. Но в такие минуты человек становится безумно решительным.

Мы напялили на труп Терезы все ее платья и решили сказать дремавшему внизу сторожу, что у этой женщины приступ — камни в печени, и мы везем ее в больницу. Этот сторож был старый пьяница и, отпирая дверь, никогда не зажигал света в подъезде.

Снимая с Терезы комбинацию и втискивая ее ноги в шаровары, мы чуть не сошли с ума — казалось, что ее тело вот-вот развалится на части. Когда она наконец была одета, я поднял ее и снес на руках через все три пролета. Труп Терезы был не слишком тяжел, но я чувствовал, что надрываюсь. Нина помогала мне, поддерживая сзади ноги. Как ей удалось, проделывая все это, сохранить такое спокойствие, для меня и сегодня загадка. Никогда — ни перед этим ни после она не выг-

лядела такой нормальной, я бы даже сказал — супернормальной.

В парадном, перед дверью, я поднял Терезу головой вверх, прислонив труп к стене. Ее голова скатилась мне на плечо, и в какое-то мгновение мне показалось, что она жива. Нина постучала швейцару в окошко. Мы услышали скрип двери и ворчание этого пьяницы, которого подняли посреди ночи. Он открыл дверь, тяжело сопя и осыпая нас руганью, пока мы с Ниной, взяв Терезу под мышки, протаскивали труп прямо перед его носом в вертикальном положении. Он ни в чем нас не заподозрил, и мы ни о чем ему не сказали. Между тем, попавшись мы случайно на глаза полисмену, я бы уже не сидел с тобой в этом кафе. Но ночная улица была пустынна. Мы достали труп до ближайшего угла и опустили его на тротуар. Рядом с Терезой я положил ее сумочку. Вся процедура заняла не более двух-трех минут. Кругом была ночь. Я был так ошеломлен, что просто не знал, что же делать дальше. Нина пригласила меня к себе, и, конечно же, я тотчас согласился.

Принято считать, что идеальное убийство в принципе невозможно. Все что мы сотворили этой ночью, несло на себе черты идеально совершенного убийства. Даже, если бы на самом деле мы задушили Терезу, это дело не могло выглядеть более чистым. Возможно, на ее теле остались отпечатки пальцев, но тогда в Варшаве еще не были известны методы раскрытия убийств по отпечаткам пальцев.

На другой день в газетах появилось сообщение, что на одной из улиц Варшавы русскими полицейскими был обнаружен труп пожилой женщины. Умершая, как и полагалось, была доставлена в морг. Когда варшавские евреи узнали, что найденный труп принадлежит Терезе Штейн, главы общины запретили вскрывать его и распорядились отвести ей специальное место на кладбище, на улице Генся.

Я обо всем этом узнал позже. В ту ночь я ни о чем не подозревая, спал с Ниной. И все шло, как обычно. В то время у меня еще были отменные нервы. К тому же я выпил пол-

бутылки водки. Да и вообще, кто знает, как и на что реагируют наши нервы.

Трудно передать, насколько тогдашняя Варшава была ошеломлена подробностями смерти Терезы. Еврейские газеты строили всякие фантастические гипотезы. Хозяйка пансиона рассказывала корреспондентам, что Тереза провела последнюю ночь с каким-то больным родственником. Кто был этот родственник, никто так и не узнал. Сторож из нашего дома мог, конечно, рассказать полиции, как после полуночи кто-то выносил из дома женщину. Но он был наполовину слеп и никогда не читал газет.

Лежавшая рядом с трупом Терезы сумочка подтверждала, что она умерла естественной смертью. Я помню, как репортер газеты "Сегодня" развивал в связи с этим мысль, что Тереза Штейн выходила из дому, чтобы помогать бедным. Он сравнивал ее с героиней рассказа Переца, которая, вместо того чтобы по ночам молиться, отправлялась к больной вдове и пекла ей вкусные вещи.

Наши варшавские евреи обожают похороны, но то, что устроили Терезе, я еще никогда не видел. Сотни дрожек следовали за катафалком. Охваченные горем и во всем траурном женщины и девушки причитали, как на Йом Кипур. В адрес умершей произносились бесчисленные панегирики. Раввин немецкой синагоги заявил, что он чувствует, как тени Гете, Шиллера и Лессинга вместе с Иегудой Галеви и Ибн Гвиролем витают над могилой Терезы.

Между нами, я не был слишком уверен, что Нина в один прекрасный день не разболтает о случившемся. Известно, что истерия и жажда разоблачать — родственные черты. Меня охватывал ужас, что после первой же нашей ссоры она отправится в полицию. Но, по-видимому, Нина действительно изменилась. Она перестала меня изводить своей ревностью, и мы больше никогда не возвращались к этой ночи — она осталась погребенной в нас тайной.

Довольно скоро после этого началась война, а у Нины развилась чахотка, которая началась, по-видимому, еще много лет назад. Родственники отправили ее в санаторий, в Отвок, где я часто навещал ее. Да, что-то в ее характере, действительно, надломилось, не было больше надобности укрощать ее оплеухами, поскольку прекратились и сами истерики. Умерла Нина в 1918 году.

— И никогда больше не являлась к тебе? — спросил я,

— Ты имеешь в виду — Нину или Терезу? Обещали обе, но ни одна не сдержала слова. Впрочем, ты же знаешь, что я неверующий. Даже в такую вещь, как существование души, я и то не верю, если эта самая душа связана с посланиями с того света. Я считаю, что смерть — это действительно конец всему этому вздору, который мы называем жизнью.

Да, я забыл упомянуть еще об одном событии, которое хоть и не связано с моей историей, но интересно само по себе. Косвенно я уже упомянул о нем. В течение всех этих лет Нина угрожала своему дядюшке — рабби Биала, — что перейдет в христианство. Рабби страшно боялся, что в его семье появится отступница. Однако после ее смерти, когда родственникам понадобились документы для ее похорон, открылось, что все годы она была католичкой. Это страшно обеспокоило варшавских хасидов. Варшава уже была оккупирована Германией, когда они дали властям взятку и похоронили Нину заново на еврейском кладбище.

Самое интересное, что она лежит поблизости от Терезы Штейн, в том же первом ряду. Когда именно она приняла католичество, я так и не узнал. Она часто говорила о еврейском Боге и вслух вспоминала своих предков.

Макс Перский замолчал. Ночь становилась прохладной. Над входом, вокруг люстры затеяли свои оргии ночные бабочки, мотыльки, а с ними и вся жужжащая комариная братия. Марк Перский покачал головой и сказал:

— В любви нельзя делать одолжений. Надо быть эгоистом, иначе погубишь и себя и ее.

Он немного поколебался и бросил взгляд на официантку. Она сразу же подошла к столу:

— Еще кофе?

— Да, панна Елена. Кстати, до которого часа ты сегодня на работе?

— Как всегда, мы закрываемся в двенадцать.

— Вот и отлично, я подожду тебя на улице...

Перевод с английского В.Борисоглебского

ПОРТФЕЛЬ

Постоянная спешка — это, должно быть, типично американская болезнь. И хотя я родился за границей, я тоже стал одной из ее жертв. У меня случаются такие суматошные периоды, что я собственное имя забываю. Я вечно тороплюсь, даже во сне.

В ту зиму я работал в газете, писал книги, ездил выступать с лекциями, да еще согласился вести курс по писательскому мастерству в одном университете на Среднем Западе. Проводил я там всего два дня каждые две недели, но все равно снял квартиру и установил телефон. Университет выделил мне кабинет с телефоном. Оба аппарата трезвонили без передышки: всякий раз, когда я входил в квартиру или кабинет, меня встречал телефонный звонок. Профессора хотели со мной познакомиться, их жены приглашали на ланч или на обед, студенты спрашивали, когда можно принести работы, будущие журналисты жаждали взять у меня интервью, члены местной еврейской общины просили выступить в их центре.

Я не умею говорить "нет", и на все соглашался. Записная книжка в моем кармане была так набита телефонными номерами и адресами, что я с трудом разбирал собственный почерк. Поскольку у меня была еще квартира в Манхеттене и кабинет в газете, почту и книги я получал по четырем адре-

сам. Времени просматривать все эти накапливающиеся повсюду бумаги не было. Иногда я даже не вскрывал писем. У таких людей, как я, обычно бывают секретарши, но я нигде не задерживался подолгу. К тому же я не мог допустить, чтобы кто-нибудь оказался в курсе моих запутанных отношений с женщинами. За долгие годы холостяцкой жизни я завел невидимый гарем из бывших и несостоявшихся возлюбленных. Всем им я что-то обещал. Некоторые были еще сравнительно молоды, другие состарились, у одной был рак, кое-кто вышел замуж, иные даже по второму и третьему разу. Их дочки относились ко мне, как к отчиму. От меня ждали поздравлений и подарков ко дням рождений и прочим годовщинам. По большей части я об этом забывал, и ночами меня будило чувство вины. Я часто сообщался с ними телепатически, и они вроде бы отвечали. Телепатия, ясновидение и предчувствия заменили письма, телефонные звонки, визиты. Всем им я причинял зло, но женщины продолжали дарить меня любовью. Может, потому, что я — во всяком случае, мысленно — был им предан. Перед сном я за них молился.

В феврале того года у меня вдруг выпала свободная неделя. Раввин конгрегации в Калифорнии, где я должен был выступать, внезапно умер, и мой приезд отложился. Услышав эту новость, я решил провести свободные дни с Рейзл. Я был у нее прошлой ночью в Бронксе. Мой самолет улетал в полдень, и мне пришлось встать в шесть утра. Больная мать Рейзл, Лия Хинда, спала допоздна. Рейзл приготовила мне завтрак. Приехав в восемь домой, я обнаружил телеграмму, отменявшую лекцию.

Когда я уходил от Рейзл, она ворчала:

— Раньше ты со мной проводил целые дни, а теперь лишней минутки не удержишься...

И тут вдруг у меня объявилась целая свободная неделя.

Прежде всего я лег на диван и попытался возместить бессонную ночь: накануне мы вернулись из театра в час ночи. Звонил телефон, но я не снял трубку. Я вспомнил слова Исава, продавшего Иакову свое первородство за похлебку: "Вот, я умираю; что мне в этом первородстве?" Я чувство-

вал, что жизнь, которую я веду, равносильна самоубийству. Я достиг точки, когда мне было страшно покупать больше пяти бритв зараз. Купить десять казалось вызовом судьбе — меня мог хватить инфаркт или нервный срыв.

Около одиннадцати я проснулся, ничуть не отдохнув, и осмотрел свою квартиру. Женщина, которая приходила ко мне убирать, недавно перенесла операцию и уехала к матери в Пуэрто-Рико поправляться. В комнатах было грязно. На полу валялись книги, журналы, рубашки, галстуки, платки, стол был завален бумагами. Я старался быть аккуратным, но из этого ничего не получалось: я жил в постоянном беспорядке. Я никогда ничего не мог найти, я терял счета, ручки и чеки. Я мог надеть один ботинок и затем долго искать второй. Однажды у меня пропало кашемировое пальто. Я искал его повсюду, даже в местах, куда и жилетка бы не влезла, но оно как сквозь землю провалилось. Может, меня ограбили? Никаких признаков того, что в квартире побывали воры, не было. И с чего бы это вор унес только пальто? В сотый раз открыв шкаф, я обнаружил его среди прочего барахла. Неужели рассеянность способна превратить человека в слепца?

Я позвонил Рейзл — сказать, что у меня образовалась свободная неделя.

— Сейчас же приезжай! — закричала она.

— Нет, ты приезжай. К тебе поедем потом.

— Ты же знаешь, я не могу оставить маму.

— На пару часов можешь.

После еще полчаса препирательств Рейзл согласилась "выйти в город", как называла она путешествие в Манхеттен. За Лией Хиндой в таких случаях присматривала соседка-старушка. У Лии Хинды было повышенное давление и еще миллион других болезней, но она как-то исхитрялась со всем этим жить. Она принимала бесчисленное множество таблеток и придерживалась строжайшей диеты. Пережив гетто и концлагерь, она собиралась теперь дотянуть до девяноста лет.

Рейзл обещала приехать через час, но я знал, что это будет никак не меньше трех. Дома она разгуливала полуголая и в разношенных тапках, но, отправляясь в город, наряжалась,

как на субботу. К тому же перед уходом ей придется приготовить все лекарства для матери: сердечное, мочегонное, витамины. Лия Хинда никогда не знала, как принимать все эти американские снадобья.

Так что у меня было время побриться, принять ванну, даже, может, просмотреть рукопись. Но телефон не давал покоя. Я потерял бритву и минут пятнадцать искал ее. Наконец, я вспомнил, что засунул ее в чемодан, с которым собирался в Калифорнию. Когда я начал распаковывать его, снова зазвонил телефон. Мне показалось, что это говорит взрослая женщина, подражающая ребенку, и я решил, что это Сара Пелицер. У нее был рак, но она осталась кокеткой и выдумщицей.

— Разве ты не знал, что Сара умерла? — сказала она детским голоском.

Я замер, не в силах вымолвить ни слова.

— Почему ты молчишь? Ты боишься мертвых? Они не делают ничего плохого. И даже ты им ничего больше не можешь сделать. Разве это не замечательно? — И она повесила трубку.

В дверь трижды позвонили. Это, наверное, Рейзл. Всегда она торопится. Она приносила с собой ужасы жизни в гетто, тайного перехода через границу, лагеря перемещенных лиц. Голубоглазая, стройная блондинка, она выглядела двадцатилетней, хотя ей было уже под сорок. Рейзл была портнихой, ей предлагали стать манекенщицей, но она не знает английского. К тому же в гетто она пристрастилась к спиртному.

Не успев войти в дом, она закричала:

— Никогда больше не поеду в сабвее! Лучше умереть!

— Что случилось?

— Ко мне привязался какой-то бродяга. Я ему говорю: "Ступайте, мистер, я не понимаю по-английски". А ему хоть бы хны. Пьян, как сапожник. Глаза убийцы. Я вышла, а он за мной. Господи Боже мой! Я все время боялась, что он вытащит нож.

— Это потому, что у тебя такое шикарное платье, и вообще...

— Ты еще его защищаешь? Ты вечно на стороне моих вра-

гов. Ты бы и Гитлера мог защищать. А платье это ерундовое. Ты не поверишь, но этот материал я купила за доллар на столе остатков. ...Ну вот, спички забыла. Мне нужно выкурить сигарету.

Я протянул Рейзл спички.

Она затянулась, выпустила струйку дыма и сказала:

— Я должна что-нибудь выпить.

— С утра?

— Дай мне стакан бренди. Я тебе принесла ланч.

Только теперь я заметил корзинку у нее в руках. Я много раз просил ее не приносить мне еду: еестряпня привлекает тараканов и мышей. Но Рейзл все равно делает все, как хочет. Она не обращает никакого внимания на мои предостережения, что она заболит от курева и алкоголя: выкуривает три пачки в день, даже посреди ночи смолит. Я хотел дать ей стаканчик поменьше, но она вырвала у меня бутылку и, налив себе большой стакан, выдула его молниеносно, как заправский алкоголик. Черты ее на секунду исказились, потом она оживилась.

Хотя она принесла еды на двоих, мне пришлось почти все съесть самому. Ей хватило сигарет и ликера. Она готовила блюда, которым научилась в родном городке: картофельные котлеты, лапшевник, грибную кашу, десерт из чернослива. Пока я ел, она причитала:

— В гетто я даже и мечтать не могла о такой еде. Мы молились, чтоб нам хотя бы черствый хлеб перепал. Один раз я видела, как два еврея подрались из-за заплесневевшей корки. Немцы обоих избили за нарушение порядка. Где же этот Бог, о котором ты пишешь? Убийца он, а не Бог. Будь моя воля, я бы всех вешала, кто о нем болтает.

— Меня бы ты тоже послала на виселицу?

— Тебя — нет, мой милый. Тебе бы я просто заткнула рот. Ты сам не знаешь, что говоришь, как мальчишка-несмышлениш. Хотя это ведь ты не сам пишешь — в тебя вселился диббук,* он-то и есть писатель. Если ты не съешь эту котлетку, я

* Диббук — в каббале — злой дух или душа умершего человека либо животного, вселившаяся в живущего.

уюду домой и больше ни разу на тебя не погляжу. Налей мне еще.

— Я тебе больше не дам — хоть ты будешь просить на коленях.

— Перестань. Надо же мне хоть на несколько секунд забыть этот проклятый мир. С кем это ты ходил на "Турецкую свадьбу"?

— Ни с кем.

— Но в рецензии ты пишешь о женщине, с которой был.

— Это прсото мой стиль.

— Какой такой стиль? Не дури мне голову мудреными словами. Я знаю, что ты бегаешь за каждой юбкой. Чтoб они все сгорели. Тебе что, меня мало? Ты ходил на "Турецкую свадьбу" с какой-нибудь шлюхой, чтoб ее черти разорвали. Она тут, в Америке, наверное, в роскоши купалась, когда я гнила в бункере с крысами и вшами. А теперь она крадет моего мужика. Чтoб ее в аду на сковороде поджарили.

— Ты проклинаешь человека, которого не существует.

— Врешь, существует, как и другие. Хотела бы я, чтoб их не было. Потому-то я и пью. Налей мне еще.

— Нет.

— Не нальешь? Ты просто убийца. Может, ты и вправду потомок раввинов, но по мне, ты не в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Не смотри на меня так. В нашей проклятой истории это случается. А откуда бы еще среди нас взяться белокурым головам и курносым носам? Мы не евреи. Гои преследуют гоев. Настоящие евреи давным-давно вымерли. Может, парочка еще осталась в Иерусалиме. Дай мне немного ликера, а то я кончусь.

— Валяй.

Рейзл уставилась на меня своими светло-голубыми глазами.

— Не знаю, за что я тебя люблю. Что я в тебе вижу? Сколько лет я мечтала найти мужика. Вот, наконец, нашла — сумасшедшего шалопая.

Мы обнялись, я приподнял ее, у нее с ноги свалилась туфля. Зазвонил телефон. Это декан английского факультета из

моего университета напоминал о лекции, которую я должен читать завтра. Господи, я о ней совершенно забыл. Я спросил, нельзя ли перенести лекцию. Нет, сказал он, они зарезервировали специальный зал, и об этом не может быть и речи.

Пока я разговаривал, лицо Рейзл разгоралось гневом. Она вырвалась из моих объятий и на одной ножке запрыгала за туфлей. По дороге она упала и, лежа на полу, стала причитать:

— Вот так кончаются все наши планы. Я проклинаю тот день, когда...

— Поехали со мной.

— Ты же знаешь, что я не могу, ты, соглашатель. Разве что только я отравлю собственную мать.

— Но мне нужно ехать.

— Ну что ж, поезжай, но когда ты вернешься, ты найдешь два трупа. Я заслужила эту судьбу за то, что хотела остаться в живых. Никто бы не пережил того, что я, — это грех. Вокруг меня все мерли как мухи, а я мечтала о мясных котлетах и любви. За это я и наказана. Не подходи ко мне. Ты мой злейший враг.

Я посмотрел на нее и увидел костлявый нос, заостренный подбородок, запавшие щеки. Когда она пришла ко мне, она выглядела юной девушкой. Сейчас она казалась женщиной среднего возраста. Я заметил морщинки возле глаз. Ее ноздри раздувались.

Она кричала:

— Дай мне бутылку. Я напьюсь до смерти.

— Только не у меня в квартире.

— Дай мне бутылку. Мне ничего не остается, только пить. Зачем Бог создал мир? Ответь мне. Он не Бог. Он дьявол. И еще он Гитлер — и это правда.

— Замолчи.

— Ага, ты стал набожным, да? Ты боишься моих проклятий? Он сидел себе на своем седьмом небе и смотрел, как детей тащили в газовые камеры. Ангелы воспевали ему хвалу, и он купался в блаженстве и славе. Дай мне бутылку. Не дашь — я тут же покончу с собой.

* * *

Моя лекция называлась "Есть ли будущее у литературы подсознания и абсурда?" Уже в ходе лекции я почувствовал, что аудитория со мной не согласна. Слушатели перешептывались, а потом наступила враждебная тишина. Одна женщина пыталась перебить меня. Сам того не понимая, я напал на тех, кто наполнял современную художественную литературу психологией и социологией. В дискуссиях студенты в своих аргументах против меня использовали Кафку и Джойса. А как насчет символистов? И неужели я полагаю, что часы истории литературы можно повернуть вспять к реализму Флобера? Некоторые мои студенты писали длинные путанные эссе, изображая свое "второе я". Другие пытались в своих сочинениях перестроить общество — или, по крайней мере, разрушить его. Один профессор заявил, что моя теория литературы не согласуется с моим же собственным творчеством, символическим, часто мистическим. Я хотел объяснить свои воззрения, но тут председательствующий объявил, что настало время подкрепиться, и все вышли в холл, где подавали ликер и пунш. Прием был устроен в мою честь, но профессора литературы игнорировали меня и болтали между собой, рассказывая друг другу какие-то только им понятные анекдоты. Я уединился в углу и потягивал свой пунш — воплощенное отчуждение.

Ко мне подошла женщина. Ее лицо было мне знакомо, но я не мог припомнить ни ее имени, ни где и когда мы с ней познакомились. Она выглядела молодой и в то же время казалась поблекшей — словно только что отболела или вылезла из тяжелого кризиса. Кто она, преподаватель, аспирантка? У нее были черные глаза, черные вьющиеся волосы, высокий лоб, на подбородке торчали волоски. На ней было черное платье, которое ей не шло. В руке она сжимала полупустой стакан. Она говорила запинаясь, будто под хмельком:

— Вы меня не узнаете?

— Я вас знаю, — ответил я, — но совершенно не представляю себе, кто вы.

— Розалия Кадиш.

— Господи! Ну конечно!

Мы потянулись друг к другу, чтобы расцеловаться, но нам помешали стаканы. Я боялся облить ее пуншем. Она сказала:

— Я постарела, но вы ничуть не изменились.

— Что же еще остается, как не стареть? — ответил я. — Но что вы тут делаете? Откуда вы взялись? Что с вами было?

Она улыбнулась, обнажая редкие желтоватые зубы.

— Я приехала из Святой земли, преподаю здесь еврейскую литературу. Пишу диссертацию.

— Что случилось с вашим другом-гоем?

— А, так вы все помните. Он женился на богатой разведенке.

— И покончил со своим стремлением спасти человечество?

— Жена держит его в ежовых рукавицах. У нее четверо детей от первого мужа, а сейчас она снова беременна.

— Где они живут?

— В Калифорнии, как все чокнутые.

— Ну, а у вас что?

Она вздохнула и рассказала, что в Иерусалиме она влюбилась в молодого преподавателя, который обещал, что вот-вот получит развод, но так и остался с женой. Потом у нее был роман с итальянским студентом, моложе ее на несколько лет, но о браке и речи быть не могло. Затем она жила с арабом. Теперь она больше не верит в любовь.

— И чем же вы ее заменили?

— Курю наркотики.

— И этого довольно?

— Да уж лучше, чем слушать признания импотентов.

— Неужели дошло до этого?

— Да, я стала циником, — сказала она. — Я совершенно во всем и всех разочарована. Но мне нужно получить степень — без нее не проживешь.

— А что ваши родители?

— Они поняли, что я не оправдала их надежд, и больше не ждут от меня ничего хорошего.

Время было позднее. Розалия сказала:

— У меня тут квартира. Зайдите, выпьем кофе или чаю. Я

раньше двух все равно не ложусь. Завтра у меня с утра лекций нет. Не бойтесь, я не буду вас соблазнять.

Я хотел попрощаться с присутствовавшими, но председатель и его жена ушли, а других я не знал. Университет был большой, как город. Розалия взяла меня за руку. На улице стоял мороз, дул ледяной ветер. На мне были теплые ботинки, толстые перчатки, маска для лица, в которой я чувствовал себя членом Ку-Клукс-Клана. Мы шли по плохо освещенным, заснеженным аллеям, ветер толкал нас в спину, пронизывал до костей. Мела поземка. Я вспомнил описания путешествий на Северный и Южный полюс, которые читал мальчиком. Запущенные снегом фонари излучали слабый свет. Было скользко, и мы цеплялись друг за друга, чтобы не упасть. Над крышами висела зелено-голубая звезда. Здесь, на земле, было минус одиннадцать, там, наверху, наверное, было сто миллионов градусов выше нуля.

Розалия Кадиш жила на четвертом этаже. Повсюду были разбросаны книги и журналы — на тахте, на стульях, на полу, даже на холодильнике и газовой плите. Она быстро скинула их и поставила чайник, предложила мне ликер и печенье. Я не большой любитель выпить, но надо было согреться. Мы чокнулись, она сказала:

— Я вас никогда не забывала. Я хотела писать диссертацию о вашем творчестве, но не нашла достаточно справочного материала.

Вдруг я вспомнил, что должен был позвонить Рейзл. Она там сидит в Бронксе, ждет. Чего доброго, попробует позвонить мне сама. Я сказал об этом Розалии, она ответила:

— Не стесняйтесь, звоните.

Я набрал номер. Голос Рейзл звучал сухо: она не простила мне, что я ее оставил.

Она спросила:

— Как прошла лекция?

— Так себе.

— Ты забыл, что здесь на час позже. Я уже хотела лечь.

— Они устроили в мою честь прием. Я не мог оттуда позвонить.

— А сейчас ты у себя?

— Да, — быстро соврал я.

— Врешь, ты врал и мошенник. Я пять минут назад туда звонила.

— Я только что вошел, — сказал я, чувствуя, что только порчу дело.

Рейзл сказала:

— Хорошо. Повесь трубку. Я тебе сейчас перезвоню.

Я хотел что-нибудь возразить, но она уже отключилась. Я сидел оглушенный. Мысленно я слышал звонки в моей пустой квартире и бешеный монолог Рейзл. Ну вот, подумал я, на сей раз все кончено: я ее потерял.

Розалия искоса взглянула на меня.

— Не волнуйтесь. Все будет хорошо, вы помиритесь.

— Никогда.

— Попробуйте сигарету с марихуаной. От одной ничего не будет.

— Нет. Лучше выпью еще ликера.

Я пытался утешить себя. Эта дурацкая любовь, думал я, весь этот романтический кавардак гроша ломаного не стоит. И совершенно право юное поколение — они не требуют друг от друга верности и не знают мук ревности. Девяносто девять и девять десятых наших так называемых инстинктов внушены социальным гипнозом.

Розалия принесла чай и печенье. Торопиться домой было глупо. Она культурная женщина, не урод. И во всяком случае, мы оба из одного племени — тех, кто занимается саморазрушением.

* * *

Прошла неделя, может, чуть больше. Я поехал выступать с другой лекцией. Погода была отвратительная. Газеты предсказывали снегопады и небывалые холода чуть ли не по всей стране. Поезда застревали на путях, и полуголодным мерзнувшим пассажирам приходилось высылать помощь. Зимой я предпочитаю ездить поездом, а не летать. В моей записной книжке было записано место моего назначения — город М.,

на Среднем Западе, и название гостиницы, где мне забронировали номер. Где-то у меня было письмо от организации, которая меня пригласила, но я сунул его в портфель, вместе с набросками к лекции. Обычно никакие адреса и пояснения мне не нужны: добравшись до гостиницы, я звоню человеку, отвечающему за программу, и с этого момента до самого моего отъезда он занимается всеми моими делами. Мне ведь приходится выступать с лекциями в синагогах и университетах, перед дамами из Гассады и библиотекарями.

В Чикаго я попробовал купить билет в спальный вагон, но ничего не вышло. Из-за погоды мне пришлось выехать за 15 часов до начала лекции. Мой поезд прибыл в 4 утра. Не беда, решил я, посижу в гостинице, поработаю. Представители организации, скорее всего, пригласят меня на завтрак и обед. Я давно не ездил в общем вагоне, но не в моем характере переживать из-за мелочей. Я нашел место у окна. В поезде было тепло. В Чикаго я купил газету, журнал и автобиографию сексуального маньяка. Еще у меня был бутерброд и яблоко, на случай, если я ночью проголодаюсь. Я боялся, что рядом окажется какой-нибудь зануда, но вагон был полупустой.

Мы миновали город, скрытый за снегом и густым туманом. По шоссе тащились легковушки и грузовики. Из фабричных труб валил дым, извергались языки пламени. Немного погодя я опустил занавеску и принялся за чтение. Газета, как обычно, писала об убийствах, изнасилованиях, пожарах, в редакционных статьях речь шла о мафии, об опасностях, связанных с принятием наркотиков. В журнале была напечатана длинная история об актрисе, которая вдруг прославилась и получала за выступление 20 тысяч долларов. Сексуальный маньяк описывал обстоятельства, вызвавшие его психоз: распад семьи, отец-алкоголик, посещения публичного дома, любовники матери. Все это было и противно, и утомительно. Я начал размышлять о будущем литературы: что может писатель добавить к голым фактам? Сенсация и мелодрама стали нашим каждодневным чтивом. Самые невероятные вещи случаются на каждом шагу.

Позевывая, я листал книгу. Есть не хотелось, но я все же

сжевал бутерброд и яблоко. За 25 центов я взял у проводника подушку, откинулся на спинку и попробовал заснуть. Постепенно вагон окутала темнота. Я закрыл глаза, погружаясь в дремоту и ленивые думы. Рейзл я наверняка потерял. Когда я ей звонил, она вешала трубку. Повезет же кому-нибудь, думал я. В полусне до меня доносился голос проводника, выкрикивающего названия станций. А потом, наверное, я и в самом деле уснул, потому что ему пришлось меня будить. Мы приехали в М.

Я достал пальто, сумку, портфель. Я был единственным, кто сходил на этой станции. Дул пронизывающий ветер. От поезда до платформы пришлось отмахать изрядный кусок пути. Железнодорожная станция, этот символ спешки и суеты, была темная и пустая. На скамейке храпел негр. Я искал глазами такси. Дело казалось безнадежным, но наконец из темноты вынырнула машина. Водитель взял мои вещи, я назвал ему гостиницу.

— Где это? Не знаю такой.

Я полез в карман, записной книжки не было. Шофер достал свой собственный справочник, зажег фонарь, чтобы поискать адрес гостиницы. Странно, обычно мне бронировали номер в известных, первоклассных отелях — а тут мы миновали ярко освещенные улицы, поехали по темным, узким переулкам. Мне стало не по себе: уж не собирается ли он меня ограбить? Наконец, такси остановилось у жалкой, третьеразрядной гостиницы. Хороша же эта организация, что пригласила меня! Завтра же еду в Нью-Йорк. Водитель звонил и стучал в запертую дверь. Наконец, вышел заспанный парень в свитере, на мой вопрос о забронированном номере он только плечами пожал:

— Ничего не знаю!

Что-то тут было не так: в этой гостинице даже не было лифта. Портье проводил меня к узкой лестнице, здесь стоял запах газа и гари. Он открыл дверь и включил свет — с потолка свисала единственная лампочка, обои отставали от стен, линолеум на полу порван, железная кровать, шаткий комодик — все вместе напомнило мне мебелирашки, где я ютился в годы бед-

ности. Наконец портье ушел. Только теперь я осознал размеры приключившегося со мной бедствия: я прихватил в поезде чужой портфель, а в моем остались мои речи и другие важные бумаги, я даже всунул туда записную книжку. К тому же, в довершение бед, я положил туда свои аккредитивы. До сих пор не возьму в толк, почему я это сделал, разве что только силы, которые распоряжаются человеческой жизнью, вознамерились причинить мне как можно больше неприятностей. Вся моя наличность состояла из двух долларов с мелочью.

Я поискал глазами телефон, но в комнате его не было. При всем моем раздражении что-то внутри меня подсмеивалось над ловушкой, в которую я попал. Оставалось только надеяться, что завтра за мной приедут. Но я уже начинал сомневаться, что попал в тот отель. Все это было какой-то ошибкой. Мне стало ясно, что я наказан за то, что обманул Рейзл. Как обычно в трудные времена, я возрождался к вере.

Я заметил, что в комнате холодно. На батареях лежал слой пыли, лопалась краска, они чуть теплились. Сняв покрывало, я обнаружил серую простыню и грязную на вид наволочку. От постели пахло порошком от клопов. Я закрыл глаза и попытался прислушаться к своему подсознанию, к этой силе, которая, согласно Хартману, никогда не ошибается. Кто — или что — завлек меня в эту ловушку? Все признаки злого умысла были совершенно очевидны.

Я разделся и лег в постель, укрывшись одеялом. Будь у меня хотя бы записная книжка... Я помнил только собственный телефон и телефон Рейзл. Конечно, в моей нью-йоркской квартире никого нет, а Рейзл не станет со мной говорить. Я боялся, что не засну, но забылся тяжелым сном.

Наутро я позвонил Рейзл по коллекту, ответа не было. Я попробовал еще раз — через час, потом через два и три часа, все напрасно. Обычно, когда Рейзл уходила, трубку снимала ее мать. Может, она убила мать и удрала? Я попытался припомнить другие номера, но амнезия работала на всю катушку. Оставалось одно — найти каких-нибудь евреев и выяснить, где вечером должна состояться моя лекция. Но сначала надо поесть. Я не завтракал и был голоден как волк. Я съел в кафе

блины, две булочки и выпил кофе, это стоило 85 центов. Теперь у меня оставалось 1.85. Такси исключалось.

В конце концов я добрал до каких-то магазинов. Среди имен владельцев значился Моррис Шапиро. Здесь я что-нибудь выясню, подумал я, может, этот Моррис Шапиро собирается вечером на мое выступление. Магазин был большой, но продавалась в нем всякая дешевка. На столах были навалены ночные рубашки, блузки, платья, свитера, шарфы, чулки — дешевый хлам. На улице, стоял ясный день, но здесь горел свет. Я вспомнил историю царя Соломона. Асмодей забросил его за 400 миль от Иерусалима. Царь Израиля возопил: "Я Соломон!" Но он, по крайней мере, был царем. А я кто? Несчастный американский писатель, один из тысяч, да к тому же еще пишущий на идише.

Я огляделся по сторонам в поисках того, кто мог бы оказаться Моррисом Шапиро, но в магазине были одни женщины — покупательницы и продавщицы. Я подошел к одной из них:

— Где мне найти мистера Шапиро?

Она с улыбкой ответила:

— Мистера Шапиро сейчас нет.

— А когда он будет?

— Зачем он вам?

Я, запинаясь, начал объяснять. Она слушала рассеянно, время от времени перекрикиваясь с другой продавщицей. Ее кукольное личико обрамляли завитые волосы, выкрашенные перекисю.

— Мистер Шапиро сейчас в Чикаго, — сказала она наконец.

— Вы не подскажете, где мне найти синагогу или раввина?

— Я не еврейка. Эй, Сильвия!

Она указала на маленькую черноволосую женщину, в таком же светло-голубом халате, как и другие продавщицы. Сильвия была занята с покупательницей, мне пришлось ждать, пока женщина средних лет дважды примеряла фартук, не в силах решиться на покупку. Сильвия с отсутствующим видом стояла рядом, жуя резинку. Наконец покупательница сказала:

— Пойду погляжу в зеркало.

Я начал рассказывать Сильвии свою историю.

У нее было скучающее выражение лица. Я отнимал у нее время. Она сказала:

— Здесь есть несколько синагог, но мне кажется, они открыты только по субботам.

— Может, вы знаете, где живет какой-нибудь раввин?

— Нет. Посмотрите в телефонной книге.

— Где мне ее взять?

— Тут, через дорогу, есть почта.

Я вышел, поблагодарив ее. Вывески почты я не нашел. Может, она обманула меня или я ослеп? На часах было два пятнадцать. До моего выступления оставалось шесть часов.

Несмотря на мороз, на улицах было полно народу, и машины продвигались бампер к бамперу, как в Нью-Йорке или Чикаго. У людей был нетерпеливый и чванливый вид. Пожилая женщина тянула на поводке собаку. Та застряла возле дерева и не желала двигаться с места. Женщина кричала на нее. Господи Боже, зачем тебе все это? — пробурчал я. В это самое мгновение я увидел вывеску почты. Зайдя внутрь, я обнаружил телефонную книгу и стал искать букву "Е". Организаций, начинающихся на слово "еврейский", здесь не было: наверное, евреи на Среднем Западе не любят публично оповещать о своих организациях. Что оставалось делать? — Только лечь и умереть. В Нью-Йорке у меня был издатель, но я не мог вспомнить его телефон. Да и вообще, его дела были на грани банкротства. Недавно одна секретарша жаловалась, что ей уже пять недель не платят жалованье. А сам издатель уехал в Рено получать развод.

Я полистал желтые страницы под индексом "церкви" и обнаружил две синагоги. Я уже собрался позвонить туда, но у меня не было гривенника. Меж тем кто-то занял единственную телефонную будку, и по тому, как он там расположился, было ясно, что это надолго.

За годы благополучного существования, зарабатывая на жизнь писательством и лекциями, я забыл вкус бедности. Сейчас он возвращался ко мне. Я позавтракал совсем недавно, но снова был голоден. Я подошел к окошку телеграфиста — разменять деньги, он сидел у своего аппарата и даже не

взглянул в мою сторону. Я подумал, что писатель не должен быть богатым. У него даже регулярного дохода быть не должно. Сытый голодного не разумеет. Живущий в доме никогда не поймет того, кто спит на улице. Памяти, воображения тут мало. Может, провидение хочет напомнить мне о моей писательской миссии?

Минут через десять-пятнадцать я наконец обзавелся гривенником. В первой синагоге никто не подходил. Во второй трубку сняла секретарша и сказала, что раввин сейчас в Англии и, насколько ей известно, никакой лекции сегодня в Еврейской общине нет. Голос ее звучал раздраженно, и я решил, что рассказывать ей мою историю бесполезно.

Я торжественно поклялся, что если Всевышний избавит меня от моих мучений, я стану отныне добрее с каждым, кто придет ко мне на помощь. Еще раз — "последний", сказал я себе, — я позвонил Рейзл. Ответа не было. Совершенно очевидно, там что-то случилось. Лия Хинда умерла или у нее удар? Или Рейзл велела ей не дотрагиваться до телефона?

Я вернулся в гостиницу и обыскал все три свои костюма. Может, где-то завалялась другая записная книжка или деньги. Но там была только пластинка жевательной резинки, которую я тут же засунул в рот, чтобы утолить голод. Тогда я занялся портфелем, который прихватил из поезда. Вымещая на нем все мое раздражение, я сломал замок. Самые худшие мои подозрения подтвердились: портфель принадлежал женщине. В нем лежали ночная рубашка, пластиковая косметичка, белье, чулки, блузка, свитер. Ни имени, ни адреса. В моем портфеле был записан мой адрес и телефон, но даже если женщина и позвонит туда, там все равно никто не подойдет. Кроме того, она могла сдать портфель в бюро находок. Надо бы позвонить на станцию, но у меня уже не было сил.

Вытянувшись на кровати, я стал думать о самоубийстве. Если жизнь и душевное состояние человека зависят от портфеля, набитого бумагами, то выходит, что жизнь не дороже понюшки табака. Стоит только потерять несколько клочков бумаги — и ты становишься изгоем.

Может, мне заложить костюмы? Или часы? Было 3.20. Че-

рез час начнет темнеть. Батареи были чуть теплы, Я сегодня не брился, даже зубы не почистил. Мои щеки украшала колючая щетина. Может, пойти в полицию? Какая организация занимается такими делами?

Мною овладевала дремота, но я боролся со сном. Надо попробовать снова позвонить Рейзл. Мне пришло в голову, что ведь можно позвонить телефонистке и узнать номера людей, адреса которых я знаю. Почему я не сообразил это раньше? Беда в том, что как только что-то идет не так, я тут же теряю голову. Кто-нибудь другой нашел бы выход в аналогичной ситуации. Я устыдился собственной беспомощности и упрекнул себя за то, что в сущности остался учеником из иешивы. Если бы еще не было так холодно, я, может, тоже что-нибудь придумал бы. Но холод меня парализовал.

Я натянул два свитера и еще один шарф, прежде чем выйти на улицу. Я боялся ночи в этом чужом, холодном городе. Зайдя в аптеку возле гостиницы, я пересчитал пальцами деньги в кармане и мысленно составил список тех, кто мог бы помочь мне. Я подобрал с пола выброшенный конверт и записал фамилии друзей и знакомых, адреса которых я помнил. Правда, ни в одном я не был уверен.

Все четыре телефонных будки были заняты. Поджидая своей очереди, я умолял Бога, заповеди которого я нарушал, избавить меня от этой муки. Я поклялся пожертвовать на благотворительные цели 18 долларов. Немного погодя я прибавил еще 18. Я должен искупить свои грехи, решил я. Меня карают за то, что я не слушал заповедей Торы. Но безбожник, сидевший внутри меня, насмехался над моими молитвами и предсказывал, что стоит мне вернуться в Нью-Йорк — и я снова стану самим собой.

Наверное, Бог услышал мои молитвы. Я позвонил телефонистке в городе, где читал лекции в университете, получил номер Розалии и — я едва верил своим ушам — она ответила. Услышав мое имя, она согласилась заплатить за разговор. Я объяснил ей, что со мной случилось, я говорил, как человек, находящийся в смертельной опасности.

— Я сделаю все, что смогу, — сказала она, — Я отправлю те-

леграфом деньги. Я бы и сама их привезла, но у меня завтра встреча с профессором, который курирует мою диссертацию.

— Розалия, я не забуду этого до последнего вздоха. И разумеется, я тут же верну тебе деньги.

— Чего ты так боишься? Выясни, где у тебя лекция.

— Как?

— Пойди в полицию. Они могут найти все, что захотят.

Я дал Розалии адрес гостиницы и снова заверил ее в вечной благодарности.

Она сказала:

— Я бы с удовольствием к тебе приехала, мне до смерти надоела моя диссертация.

Дрожащей рукой я повесил трубку, ошеломленный собственным успехом, как будто я только что спасся от смерти. Меня переполняла любовь к Розалии. Она цинична, она курит марихуану, но раз она готова помочь другому человеческому существу, в ней все же сохранилась искра божья. Она в тысячу раз лучше Рейзл, кричал мой внутренний голос. Я был готов сходу жениться на Розалии. Что мне до ее прошлого? Между полами необходимы новые отношения. Пора покончить со скукой и ложью сегодняшней семейной жизни.

Мой гривенник проскочил вниз, я снова бросил его в щель: я решил еще раз попробовать дозвониться до Рейзл. Какая-то сверхестественная сила говорила мне, что на этот раз она будет дома. Я почти видел, как она стоит у телефона. Я услышал звонок и потом ее голос. На последнем дыхании я вымолвил:

— Рейзл, ради всего святого, согласись принять этот звонок,

— Вы принимаете звонок? — нетерпеливо спросила телефонистка.

Поколебавшись несколько секунд, Рейзл согласилась. Голос ее звучал хриловато, как будто она только что с кем-то ссорилась или плакала.

— Рейзл, со мной случилась ужасная история. Я потерял портфель, аккредитивы, записную книжку. У меня нет ни копейки, и я торчу в холодной и подозрительной гостинице. Выслушай меня, если в тебе остался хоть проблеск человечности.

— Где ты, убийца, собака, животное?

— Рейзл, сейчас не время сводить счеты. Если только ты не хочешь моей смерти...

Поскольку Розалия обещала мне помочь, я понимал, что ничего такого страшного больше нет. Но я не был уверен, что она сдержит свое обещание. Я рассказал Рейзл всю историю, тяжело дыша и дрожа, пристыженный тем, как я преувеличиваю опасность.

Рейзл сказала:

— Ты, верно, встретился с какой-нибудь из своих шлюх, и она обобрала тебя до нитки.

— Клянусь, я говорю тебе правду.

Она помолчала. — Что же делать? — сказала она наконец, — Я не могу оставить мать.

— По крайней мере, вышли мне деньги. Я должен выбраться из этой дыры.

— Хорошо. Давай адрес.

Я продиктовал ей адрес. Если женщины сдержат свое обещание, я получу два телеграфных перевода, но ведь никогда нельзя наперед знать, как люди поступят или что может стрястись. По крайней мере, судьба дала мне связаться с Рейзл и Розалией — верный знак того, что я еще не обречен на гибель.

Только на улице я почувствовал, как вымотали меня холод, ветер и волнение. Я зашел в магазин, купил молока и буханку хлеба. Теперь у меня оставалось 94 цента. Когда я вышел, стемнело. Хотя я запоминал приметы, мне не сразу удалось найти дорогу к гостинице. Стало холоднее, нос одеревенел. Туман слепил меня. Каждые две минуты я шарил в кармане в поисках ключа и клочка бумаги, на котором был записан адрес гостиницы. На краю запруженного народом тротуара голуби сбились в стайку вокруг корки хлеба, которую кто-то обронил или бросил. Они никак не могли ни управиться с ней, ни оставить ее. При виде этих существ я преисполнился состраданием к ним и яростью против их создателя. Где они ночуют в такой холод? Они, наверное, замерзли и голодны. Они могут умереть этой же ночью. Я хотел подобрать кусок хлеба и раскрошить его им, но я знал, что они уле-

тят, стоит мне подойти к их добыче. Я вытащил свою буханку и стал ломать ее и бросать им крошки. Прохожие толкали меня, но голуби приняли мое подаяние. Я ломал хлеб и бросал крошки птицам.

Ко мне подошел полицейский.

— Вы мешаете движению, — сказал он. — Закон запрещает кормить голубей на улице.

— Но они голодны.

— Не умрут. — И он сердито посмотрел на меня.

Я двинулся дальше, но как только он отвернулся, я бросил на землю еще один кусок хлеба. Испуганные голуби взвились в воздух. Каббалисты правы: из всех миров наш — самый худший. Здесь господствует сатана. Я спросил у кого-то дорогу: оказалось, я стою прямо перед гостиницей.

Портье крикнул мне:

— Сколько вы собираетесь здесь пробывать?

— День-два. Мне должны перевести телеграфом деньги.

Он недоверчиво оглядел меня:

— Послезавтра вашу комнату займут.

Я поднялся наверх и уселся за обед. Какое блаженство — свежий хлеб и молоко! Каждый кусок наполнял меня живительными силами. Я ел в полутьме, наслаждаясь благочестием бедности. Вдруг я сообразил, что ведь у меня нет никаких документов. Даже если деньги и придут, их могут отказать выдать мне. Что тогда? И тут я услышал шаги, в дверь постучали. Я вскочил, непослушными пальцами открыл дверь. В коридоре стояли портье и еще несколько человек.

— Почему тут так темно? — спросил один из них. Потом он произнес мое имя. Послышались еще голоса, пока наконец все прояснилось. Организация, пригласившая меня, ищет меня по всему городу. Я зажег свет и увидел лица благополучных руководителей еврейской общины. Все заговорили разом. Они ищут меня весь день, они наводили справки в гостиницах, на железнодорожных станциях и аэродромах, они сообщили в полицию. Им звонила женщина, у которой оказался мой портфель. Кто-то сообразил, что я, наверное, попал не в ту гостиницу. Жалкая конура, в которой я остановился, носила

название, сходное с названием роскошной гостиницы, где для меня был забронирован номер.

Кто-то с гордостью произнес:

— От нас не спрячешься.

— Это наш Шерлок Холмс, — сказал другой.

Они смеялись и перебрасывались шутками. Один из них представился как президент и пренебрежительно взглянул на полусъеденный хлеб и молоко.

— Поехали с нами сейчас же, — сказал он. — Все билеты на ваше выступление распроданы.

— У меня нет текста моей речи, он остался в портфеле.

— Мы пошлем за ним. Это всего в пятнадцать милях отсюда, эта женщина — член нашей общины.

— Но мне должны перевести деньги на этот адрес.

— Их перешлют в гостиницу, куда мы вас сейчас отвезем.

Один из пришедших подхватил мою сумку, другой — взломанный мной портфель. Я заметил, что не заплатил за номер, но президент сказал, что об этом позаботятся. Внизу на меня уставился пораженный портье, он кланялся и извинялся. Сверкала вспышка фотографа. Мне бы, конечно, радоваться такому повороту событий, но я чувствовал грусть. Демоны играли со мной. И я знал, что это не последний их ход.

Меня привезли на лимузине в первую классную гостиницу. Едва я успел побриться, принять душ и переодеться, как меня потащили в ресторан на обед, на котором присутствовала масса народу. Пока я ел, кто-то привез мой портфель. Потом ко мне подошел репортер местной газеты — взять интервью.

* * *

Поздно вечером, вернувшись в номер, я позвонил Рейзл и Розалии. Как легко звонить из роскошного номера, с кучей аккредитивов в кармане и изрядной суммой наличными, только что полученной за выступление! Обеих женщин не было дома. Я лег и сразу же уснул. Проснулся часов в десять, принял ванну, заказал завтрак. Мне надо было дождаться в гостинице перевода. Деньги были мне уже ни к чему, но важно было узнать, что они сдержали слово. К тому же, надо прийти в себя после всех злоключений.

В час дня за мной зашел президент, мы поехали на ланч. Потом он покатал меня по городу. Мы проехали мимо магазина Морриса Шапиро, мимо почты и кафе, где я завтракал. Президент крутил в руках сигару и твердил, что М. маленький городок, словно извиняясь за его размеры.

Я сказал:

— И все же здесь легко потеряться.

— Не может быть!

Он хотел показать мне все, чем был славен его город: музеи, школы, сельскохозяйственный колледж. Но у меня кончилось терпение. Я еще не пришел в себя и мне хотелось до обеда вздремнуть. Наконец президент отвез меня в гостиницу. Смеркалось. Стекла стали синими. Я лег не раздеваясь. Время от времени я ощупывал аккредитивы в кармане. Я заснул.

Меня разбудил стук в дверь. Было темно. Я сел на кровати и никак не мог сообразить, где я. Ноги были слабы, как после болезни. Открыв дверь, я увидел при свете, падающем из коридора, два знакомых лица: Рейзл и Розалия. Я стоял неподвижно, уставясь на них. На Рейзл была поношенная шуба, которую она получила в немецком лагере для перемещенных лиц, голова обмотана белой шалью. Розалия тоже была в шубе. Обе держали в руках большие сумки. Я был слишком сонный, чтобы по достоинству оценить комизм положения.

Розалия сказала:

— Что ж ты не приглашаешь нас в комнату?

Очевидно, они обе решили приехать лично, чтобы вырвать меня из лап судьбы. Наверное, они столкнулись в той гостинице, подумал я, а может, в самолете, который делает посадку в Чикаго, но я был слишком утомлен, чтобы пускаться в объяснения. Я потерял дар речи. Я долго смотрел на них. Дьяволы сыграли со мной новую шутку — они не собирались оставлять меня в покое. Глаза Розалии смеялись. Рейзл смотрела на меня с каким-то насмешливым состраданием. Что это — мое последнее падение или некие силы откликнулись на молитву, которую я не решался произнести?

Я услышал собственный голос:

— Заходите. С приездом. Сегодня ночь чудес.

Перевод с английского Елены Гессен.

ТРЕТИЙ

Город изнемогал от жары, а в этом маленьком кафе на Бродвее, как всегда, было прохладно. Днем, между тремя и пятью, кафе было наполовину пустым. Расположившись за столиком, у стены, я пил маленькими глотками кофе, отщипывая ломтики яблочного пирога, и листая оккультный журнал.

В разделе "Почта редакции" было помещено письмо какой-то женщины, которая подробно описывала, как ее любимого кота задавила машина и она похоронила его, но он стал являться к ней по ночам. Она сообщала свое имя и адрес в одном из местечек Техаса. Письмо было искренним и чувствовалось, что эта история с кошачьим привидением не была вымыслом.

Меня давно занимал вопрос, существуют ли на самом деле астральные тела? И неужели это относится даже к животным? Если это так, то мой взгляд на мир определенно нуждался в пересмотре. Перед тем как взяться за это непростое занятие, я подошел к стойке и налил себе еще чашку кофе. "Итак, одна жизнь существует вне всякой связи с другой", — размышлял я про себя и машинально оглядывал расположившихся вокруг людей.

Сидевший напротив парень в розовой ковбойке лихорадочно листал расписание предстоящих скачек и курил сигарету за сигаретой — его пепельница быстро наполнялась окурками. Двумя столами дальше какая-то девица лениво просматривала объявления, напечатанные в утренней газете. Слева, у самой двери, сидел седобородый, с длинными и седыми космами субъект — типичный осколок старой Америки. Я часто встречал здесь этого чудака. Судя по всему, он вечно был без денег, тем не менее старался держаться с достоинством. Кто он — религиозный фанатик? Или вольнодумец какой-то старой школы? Пацифист? Вегетарианец? Спиритуалист? Анархист? Всякий раз он вызывал у меня любопытство, но я так и не набрался смелости заговорить с ним.

С улицы открылась дверь и вошел человек, чье лицо мне

показалось страшно знакомым, но я не мог вспомнить ни его имени, ни даже, где мы встречались. Он был низкого роста с копной песчаного цвета волос на большой голове. Голова выглядела непропорционально крупной на его тщедушной фигуре. Возраст его невозможно было определить. Он мог быть сорока и пятидесяти пяти. Стертое, блеклое лицо выдавало какую-то накопленную годами усталость и даже изможденность. У него были широкие скулы, приплюснутый нос, вздернутая верхняя губка и маленький детский подбородок. Была на нем легкая спортивная рубаша и полотняные брюки.

Возле кассы он на секунду задержался и стрельнул в зал своими желтоватыми глазами, словно кого-то искал. Затем взглянул на меня, и его лицо тотчас просветлело. Энергичным движением он оторвал чек и решительно направился к моему столу. Я обратил внимание на его сандалии с двумя штрипками на босых ногах. Казалось, он специально подбирал свой гардероб для нью-йоркской жары. В отличие от него на мне был костюм, шляпа и даже галстук. Приблизившись к моему столу, он заговорил на польском идише с хорошо знакомым мне люблинским акцентом: "Что вы здесь делаете в середине дня? Спасаетесь от жары? Разрешите подсесть к вам? Могу ли я что-нибудь вам принести?" Как я заметил, он говорил немного в нос.

— Спасибо. Ничего не надо. Присаживайтесь...

— Вы когда-то обещали мне позвонить, — продолжал он, — конечно, в этом городе всегда ни у кого нет ни времени, ни терпения. Может быть, потеряли номер? Я по себе это знаю, записываю адреса и телефоны, и они вечно куда-то исчезают. Вы часто сюда заходите? Я с некоторых пор здесь постоянный посетитель. Моя жена несколько раз о вас спрашивала. Вы что же тут рядом живете?

Пока я собрался ему ответить, он быстрым, мелким шагом подлетел к буфету. "Кто же он?" — терялся я в догадках. Было ясно, что мне не удастся побыть одному.

Он вернулся с кофе-гляссе и черничным пирогом.

— Понимаете, я собрался в кино, но какой же интерес одному. К тому же, я и не знаю, что идет. Может быть, составите компанию? Я приглашаю вас!

— Спасибо, но у меня нет ни малейшего желания идти в кино, — сказал я.

— Да? По правде, я и сам хожу только тогда, когда вынуждает жена. Но сегодня решил засесть на пару часов, чтобы хоть как-то убить скуку. Я, знаете, большей частью даже не смотрю на экран, пусть себе болтают, стреляются, поют — делают все что вздумается. Но прошу вас, джентльмены, без меня! Когда вы знаете, что вам не под силу ничего изменить, вы становитесь фаталистом. Иногда я чувствую, что жизнь — это то же кино. Вам это никогда не казалось?

— Да, но в настоящем фильме мы все участвуем, и выбора у нас почти нет — мы можем поступать либо хорошо, либо плохо...

— Так вы верите в свободу воли? Я — ни на грош! Если хотите знать, все мы просто марионетки. Кто-то дергает за нити из-за кулис, и мы послушно танцуем. Поэтому я убежденный детерминист!

— Но, когда вы переходите улицу и видите летящий на вас автомобиль, разве вы не уступаете ему дорогу?

— И это предопределено! Я читал как-то в газете, как один парень пообедал со своей барышней и им вздумалось сыграть в русскую рулетку. Пока шарик метался между "нет" и "да", этот друг пустил себе пулю в лоб. Кстати, почему в последнее время ваше имя не встречается в газетах?

— Просто я ничего не публиковал.

— Вот именно, не публиковали! Поэтому я сделался владельцем дома, если это можно так назвать. Теперь я ни от кого не завишу. Купил дом с меблированными комнатами, в одной из них живу, за другие мне платят. Неделю мне лучше, неделю хуже, но я, по крайней мере, не обязан прислушиваться к мнению редактора. Платят обычно авансом, и у меня есть все необходимое. Моим арендатором может быть убийца, вор, сутенер — мне это ровным счетом безразлично. Он платит доллары и получает взамен ключ. Сегодня мне самому понадобилась на несколько часов одна из комнат, но все оказались заняты. Впрочем, вы же ничего не знаете, вы даже не можете вспомнить, кто я, не правда ли?

— Нет, я знаю вас, но, к сожалению, забыл ваше имя, это просто какая-то амнезия...

— Мне так и показалось! Так вот, Фингербейн. Зелик Фингербейн, это мой псевдоним. Но настоящим именем меня уже никто не называет. А познакомили нас с вами в кафе "Рояль".

— Ну, конечно же! — вырвалось у меня. — Я вспомнил все и даже вашу хорошенькую жену Геню.

— Ага! Вы-таки помните? Я и сам все забываю — события, людей... Раньше я писал стихи и даже публиковал их. Но кому в наши дни нужен этот неходовой товар! Между тем в жизни существует нечто такое, что только и способна выразить поэзия. Поедставьте "Песнь песней" вне поэтической формы. Впрочем, все это уже вчерашний день: "любовь сильнее смерти", "ревность преследует до могилы". Да и сам Отелло. Попробуйте сегодня задушить кого-нибудь из ревности — никто за вас и гроша ломаного не даст. Настоящая любовь — это прощение. Цивилизованный человек должен овладеть труднейшим из всех искусств: побеждать ревность. Простите, вы курите?

— Нет...

— Но отчего же? Сигарета временами помогает... Женщина, между прочим, страдала много поколений — полигамия, гаремы, мужчина, возвращаясь с войны, привозил наложниц. Все это тоже вчерашний день. Теперь настала очередь мужчин. У женщин такие же аппетиты, как у нас. Не смейтесь! Мы часто слышим: общество катится вниз, но эти самые "низы общества" оставили нас далеко позади. Правда, Европа в этом смысле обогнала нас. Когда британский король отказался от трона, чтобы жениться на разведенной американке, — это была не просто сенсация, а некое знамение времени: король стал символом нового времени и нового мужчины!

Зелик Фингербейн стукнул кулачком по столу, отщипнул черничного пирога и тотчас отодвинул его.

— У вас есть немного времени?

— Да, у меня есть время.

— Я знаю, — продолжал он, — что буду рассказывать в том, что собираюсь сделать. Но раз уж мы встретились, я хочу рассказать кое-что, связанное с вами.

— Со мной? Каким это образом?

— Фактически это и есть то, о чем вы пишете. Нет, не вы лично. — Зелик Фингербейн повернул голову, словно заподозрил, что нас кто-то подслушивает. Его пожелтевшие глаза продолжали наблюдать за мной. Он странно улыбался, словно в чем-то сомневаясь. — Никто не должен знать того, о чем я вам расскажу. Каждый из нас жаждет с кем-то поделиться. Пока никто не знает вашего секрета, это даже не секрет, а просто утаенная от посторонних безделица.

Так вот, речь пойдет обо мне и о моей жене, точнее о нашей любви. Когда я был холостяк, то пребывал в уверенности, что не может идти и речи о любви между людьми, прошедшими через свадьбу и спящими в одной кровати. Ничто на свете не вызывает столько насмешек, как брак. Большинство насмешников, однако, рано или поздно отправляются к пастору или ребе и добровольно надевают петлю на шею. Если кто-то женится неудачно, то он пробует счастье второй раз, третий, пятый. Конечно, существует много холостяков и старых дев, но все они так и рвутся влезть в ту же петлю и продолжают ее искать до последнего дня жизни. Вы изволили заметить, что моя супруга мила. Спасибо. Не нужно иметь богатого воображения, чтобы представить, какой она была в юности. Мы оба приехали из Келец и уже здесь примкнули к движению "Шомер Ацаир".* Именно в это время мы и встретились. Почти все наши парни были влюблены в нее, притом многие безнадежно.

Внешне, как мужчина, я вряд ли привлек бы ее внимание, но я был интеллигентнее и тоньше других. Она это, по-видимому, почувствовала, и постепенно в нас пробуждалось настоящее чувство друг к другу.

Я не пошел служить в армию, и в 1924 году мы приехали в Америку в последний день перед тем, как закрылись ворота перед эмигрантами.

В кармане у нас не было ни гроша, и Геня поступила служить в лавочку, так что я мог продолжать кропать свои стихи. Она лелеяла мечту, что из меня выйдет второй Байрон. Но,

* Движение сионистской молодежи.

как говорила моя мама, "те, кто много про себя мечтают, одурачивают сами себя!"

Не мне вам рассказывать, что значило быть еврейским поэтом в Нью-Йорке. Думаю, что в моих обстоятельствах сам лорд Байрон мог податься в ленд-лорды. Мало-помалу я выросл и избавлялся от юношеских иллюзий, что, впрочем, никак не отражалось на нашей любви. То, что женщина способна увидеть в любимом мужчине, а мужчина в женщине, — третьему никогда не понять. Так вот, какими бы тяжкими ни были для нас будни, вечера наши выглядели, как праздник. Куда бы нас ни забрасывала судьба — на Брум-стрит, на Ошен-авеню или Брайтон-бич, — мы всякий раз старались украсить свое семейное гнездышко. Нам обоим нравились красивые вещи. В те дни на Третьей авеню вы могли за гроши купить любой антиквариат. Единственное, что нас огорчало, — мы не имели детей. Я стал преподавать в школе идиш и прилично зарабатывал.

Иногда, когда редактору идишистской газеты нечем было заполнить место, мне удавалось кое-что напечатать. А Геня стала первой леди в своей лавочке. Жили мы довольно широко — у нас почти всегда оставались деньги. Летом сняли отель в Катстильских горах, затем пересекли с востока на запад Соединенные Штаты и даже совершили путешествие в Европу.

Все как будто складывалось благополучно, но я никак не мог смириться с мыслью, что из меня не вышло поэта. И Геня, надо сказать, страдала из-за этого. Конечно, книги приносили нам наслаждение. Вначале мы читали на идише и польском, а позже и на английском, когда изучили язык.

Между прочим, мы оба обладали хорошим вкусом. Я знал одного кантора, который говорил: "Я не умею петь, но я умею наслаждаться пением!"

У Гени был еще более тонкий вкус, чем у меня. Разумеется, это курьез; люди, лишенные ума и слуха, становятся профессорами и литературными критиками, а такие, как Геня, с их абсолютным слухом на слово, вынуждены торчать в лавке. Что ж, видимо, и в этом тоже лицемерие современного мира. Так вот, ни я, ни Геня особенно не перерабатывались. Мы

приглашали к себе на обеды, устраивали вечеринки с одними и теми же друзьями. Но более всего нам нравилось быть наедине, и мы обычно благодарили Бога, когда друзья разъезжались. Скажите, многие ли пары могут похвастать такой жизнью? Не буду распространяться о своей любви к Гене — жизнь есть жизнь, и я не был равнодушен к хорошеньким женщинам. И вообще, мужчины должны быть к себе более снисходительны. Я не верующий, но, если бы я и верил, так неужели по еврейским законам это такой уж грех иметь больше одной женщины? Жизнь, между тем, предоставляла возможности на каждом шагу. Нет, у меня не было ничего серьезного, просто время от времени я кое-что себе позволял. Вначале я держал это от Гени в секрете, но у нее была обостренная интуиция, временами казалось, что она видела меня насквозь. Но когда в конце концов я сознался в своих похождениях, она и не подумала устраивать трагедии: "Делай все, что тебе нравится, только возвращайся ко мне! Ни одна женщина не даст тебе того, что я". Типичный женский разговор!

С другой стороны, после каждого приключения у меня пробуждалась еще большая страсть к ней. И в этом тоже ничего нового. Так продолжалось несколько лет. Вечера мы проводили за откровенными разговорами: фантазировали, делились впечатлениями, рассказывали друг другу истории, которые вычитывали в книгах. Как большинство мужчин, я был за свободу отношений, когда касалось чужих жен, но от собственной — требовал целомудренности. Думаю, что в душе Геня не испытывала от моего поведения восторга, но поначалу она лишь предостерегала меня: если я и дальше буду продолжать, то и она не останется в долгу.

Но шло время, и все оставалось по-прежнему. Целомудрие было ее второй натурой, унаследованной от Бог весть скольких поколений прабабушек. Одна мысль иметь кого-то еще вызывала у нее содрогание. Она сама мне об этом говорила, но однажды вечером ни с того, ни с сего спросила меня: "А что, если бы мы все-таки сыграли в эту игру? Представь, что ты оказался в подобном положении?"

Постепенно это стало нашей излюбленной темой, и мы рисовали перед собой ситуации, взятые из ваших рассказов. Вы

представить себе не можете, сколь велико влияние литературы на жизнь. Возможно, мы жили жизнью ваших героев даже больше, чем вы сами. Да... Мы можем сидеть до утра, и вы не услышите тысячной доли того, что произошло. Но я постараюсь короче. Так вот, я уже не помню, когда и по какому поводу она это впервые сказала: что не существует принципиального различия между психологией женщины и мужчины и что она сама обнаружила в своем характере некоторые мужские черты. Я воспринял это как шутку, которую она вскоре повторила снова. Но эти разговоры лишь подогревали и по моему возбуждали меня. А она твердила свое: что, если у нее возникнет к кому-нибудь влечение и в какой-то момент она уступит? Что я сделаю — порву с ней? Перестану любить? Но, если это так, значит, я придерживаюсь двойной бухгалтерии — одна для меня и совсем другая для нее. Я поспешил ее заверить: да нет же, никакой двойной бухгалтерии. Как говорят англичане: какой соус для гусыни — такой и для гусака! Но все это ничего не значило: к ней вечно приставали мужчины, и она всем отказывала. Она признавалась, что решила сравняться со мной — хотя бы раз — просто, чтобы убедиться, что она — современная женщина, а не допотопная сонная курица.

День ото дня она теперь разжигала в себе этот комплекс. Почему она, Геня Фингербейн, не способна стать второй Анной Карениной или мадам Бовари или, по крайней мере, вашей Хадасой или Кларой? Разговоры в их лавочке, где девушки постоянно хвастали своими победами, лишь подогревали ее. К тому же сатана в наши дни не так уж и нуждается в нежных мелодиях, все девять муз постоянно к его услугам. Геня с ее ликом святой Магдалины — прекрасный тому пример.

Я уже не помню, как она перешла на жаргон, который почерпнула из книг врачей и всяких экспертов по любовным делам. Книги были об одном и том же: как таким, как она, упустившим время, все-таки взять от жизни свое? Вы будете смеяться, но Геня настаивала, чтобы я помог ей найти любовника. Это ли не сумасшествие? Она откровенно говорила: "Ну постарайся же, ты же видишь, что я сама не в силах. Хоть бы на один раз!"

Однажды ночью мы, действительно, сели и составили список кандидатов. Это была довольно странная игра. Мне уже перевалило за пятьдесят. Геня была не намного младше. Нам было впору уже нянчить внуков. А мы вместо этого, проснувшись в полночь, засели составлять список ее возможных любовников. Весело, не правда ли? Не так уж весело. Извините, но мне хочется еще кофе.

Зелик Финбергейн принес еще две чашки кофе — одну себе, другую для меня, сделал маленький глоток и сказал:

— В книгах я часто встречал понятие "друг дома", но никогда не мог взять в толк, что это значит. Почему муж должен позволять жене предавать его? Почему все это должно происходить в его собственном доме? Изобретение новеллистов и драматургов! В Кельцах я ни разу не сталкивался с этим, но здесь, в Америке, это можно видеть на каждом шагу — среди актеров, докторов, бизнесменов...

Мог ли я, однако, представить, что это случится со мной? Да, я имею теперь "друга дома" и именно поэтому сижу с вами в кафе. И именно это объясняет, почему я вынужден был сегодня отправиться в кино. Когда появляется он, мне следует убраться. Я даже убираюсь заранее. Возможно, он еще не типичный "друг дома", но он ходит в мой дом, и я об этом знаю.

Вам интересно, как это началось? Несколько лет назад здесь появился некий беженец из Польши. Может быть, вы его знаете, так что я буду называть его по имени — Макс. Внешне это был стопроцентный поляк, но говорил он на хорошем идише. Макс был художником, по крайней мере так он всем представлялся. Вы же знаете, что такое современный абстракционизм: несколько грязных пятен на холсте, и считайте, что перед вами восход солнца в Закопане или бой быков в Мексике. Главное, чтобы покупали. Современные потребители искусства — такие же шарлатаны, как и его творцы. Если фигура человека поставлена на ноги — это банально, но, если вы ставите ее на голову, — это уже нечто! Так вот, первый раз я встретил его в кафе "Рояль". Это был скользкий субъект с пылкими, подбострастными глазами, которые взывали к

любви, братству и еще черт его знает к чему. Не успели нас представить, как он стал так бурно выражать свои чувства, словно неожиданно отыскал брата, которого потерял много лет назад.

Макс тотчас хотел писать мой портрет, сообщил, что он, как и я, из Келец, и что, скорее всего, мы даже дальние родственники. Я уже к этому привык: если мужчина проявлял ко мне чрезмерные чувства, значит, ему нравилась Геня. Ее поклонники даже не пытались это скрыть.

Но, когда мы познакомились с Максом, Гени вообще не было рядом, а когда в конце концов он увидел ее, то не проявил к ней ни малейшего интереса. Геня же, наоборот, была уязвлена: она не привыкла к безразличию мужчин. Итак, Макс писал мой портрет — на холсте получалось нечто среднее между обезьяной и крокодилом. Тем временем, выяснилось, что мой "названный брат" довольно ловкий делец, который умело обдeldывал свои делишки с бриллиантами и антиквариатом. Не успел он появиться в Нью-Йорке, как всех уже знал, и все знали его. Нам были сразу же предложены серебряные подносы для специй, указки из слоновой кости, табакерки и тому подобное. Геня сходила от этих безделушек с ума, и он уступил их нам по дешевке.

Мало-помалу я стал понимать, что с ним что-то не в порядке. Шли месяцы, а он все никак не мог закончить мой портрет. Сидя передо мной с кистью, он смотрел на меня долгим взглядом и всякий раз, когда приближался, не упускал случая прикоснуться ко мне.

Один раз, когда мы очутились рядом, он попытался поцеловать меня. Я остолбенел, а он стал говорить, что любит меня. От этого признания меня чуть не вырвало. Я сказал: "Не будьте, Макс, идиотом, я далек от этого сумасшествия, как Господь от преисподни!" В ответ он обиженно засопел, словно отвергнутый любовник. Я рассказал обо всем Гене и по ее замешательству понял, что она не знала, как себя вести — смеяться или плакать.

В книгах мы постоянно читаем о таких вещах, но они становятся неправдоподобными, как только вы сталкиваетесь с

ними на самом деле. Теперь у нас появилась новая тема ночных дискуссий: Геня была потрясена, что я оказался более привлекателен в глазах мужчины, чем она. Про себя я твердо решил от него избавиться — но как? Макс был не тот человек, которому вот так просто можно было заявить: "Поди вон!" Он уже привык бывать в нашем доме, и всякий раз приносил подарок. К тому же он был на короткой ноге со всем театральным Бродвеем и постоянно снабжал нас с Геней билетами. Мы могли втроем сидеть в первом ряду партера и бывать на спектаклях, на которые без его связей нам было бы не попасть месяцами. Это и было одним из путей, каким посторонний мужчина становится "другом дома". Однажды, в театре он попробовал взять мою руку, и я предупредил его, что, если он позволит это еще раз, я вышвырну его вон. Все это вызвало во мне отвращение.

Между мной и Геней разгоралось странное состязание. Вначале оно лишь потешало меня. Милая, интеллигентная женщина домогается внимания законченного болвана, а он, словно не замечая этого, пылает страстью ко мне. О чем бы Геня ни заговаривала с Максом, он обычно не слушал ее, но стоило мне брякнуть какую-нибудь тривиальщину, он с энтузиазмом подхватывал ее. Можно ли представить себе больший идиотизм? Этот субъект явно отравлял нам семейную жизнь, и теперь чуть ли не каждый вечер мы с Геней прикидывали, как от него избавиться, и принимали твердое решение. Как только он позвонит на следующий день и начнет плести, какой у него для нас подарок или какое можно повернуть дельце, или, что за сенсация произошла на Бродвее, — я тотчас ему объявлю наше с Геней решение... Но не успевал я открыть рот, как Геня приглашала его на обед!

Кстати, о его бизнесе: довольно скоро выяснилось, что его шедевры изготавливались на одной из Нью-Йоркских фабрик, которая занималась штамповкой репродукций. Его редчайшие оригиналы в лучшем случае оказывались литографиями. Поистине, он был способен на любое мошенничество!

Не стану особенно распространяться, но жена моя стала встречаться с ним без меня. Она заявила своему хозяину в

лавке, что отныне сможет работать только два раза в неделю. Как раз в те дни я занялся покупкой дома, и это отнимало все время. К тому же у меня просто не хватало терпения на этого шарлатана с похотливым взглядом. Геня говорила о нем ужасные вещи и все делала для того, чтобы он реже мне попадался на глаза.

Он и в самом деле во всем напоминал женщину: мог с утра до вечера сплетничать, обожал безделушки, на каждом пальце носил кольца. И ко всему этому — длинные, напояженные бриолином волосы и эта всепоглощенность своими платьями и внешностью. Как видите, я небольшого роста, а он, будучи на голову выше меня, ходил на каблуках. А эти павлиньи галстуки! Какая женщина могла все это вынести? Я наивен, не правда ли? Но даже в страшном сне я не мог представить себе, что Геня могла с ним спать!

— Спать?! Несмотря на то, что он — гомосексуалист?

— Черт его знает, кто он! Если все в нем было так фальшиво, почему не допустить, что и это фальшь! Кто знает, может быть, весь этот флирт со мной ему только и понадобился, чтобы забраться к Гене в постель? Он был хитрой лисой, и пока я от него отдалялся, не терял времени зря. Они вместе ланчевали, вместе обедали, вместе ходили по театрам и выставкам. А когда я пытался сказать слово, Геня с деланным возмущением восклицала: "Ах Боже! Ты ревнуешь! Да он больше увлечен тобой, чем мной!" И действительно, куда бы они ни собирались, он неизменно приглашал и меня, но я каждый раз отказывался. Геня клялась и божилась, что он ни разу не прикоснулся к ней, и я, надо сказать, верил ей. Удивительно, до чего же люди падки на самообман. К тому же я устал от всех этих кино, театров, безделушек. В квартире надо было делать ремонт, а куда девать все барахло? Чего только на свете не изобретают, но никто еще не придумал, как избежать ремонта квартиры. Все ваши вещи куда-то вывозятся, картины снимают со стен, книги складывают стопками на полу. Вы становитесь чужаком в собственном доме.

Запах краски делает вас больным. И вы начинаете ощущать жуткую правду: что ваш дом, как и все остальное — всего лишь мираж. Я чувствовал, что все летит в бездну, и вот то-

гда, в одну прекрасную ночь, Геня призналась в том, что она с ним спит.

Зелик Фингербейн допил остывший кофе и вопрошающе взглянул на меня:

— Чему вы так поражены? Вы пишете, как современный человек, но по-моему, вы не избавились от устаревшей морали и предрассудков. Со мной было то же самое — но теперь я свободен. Скажите, кто вправе осуждать женщину за ее нежелание всю жизнь спать с одним и тем же мужчиной? Даже, если она любит его?

Встречалось ли вам более чистое существо, чем Геня? Но и она — женщина двадцатого века, и вы не заставите ее смириться с мыслью, что Зелик Фингербейн — единственный мужчина в Нью-Йорке. Когда Геня рассказала мне о своей связи, я почувствовал, как кровь ударила в голову. Мне казалось, что рушится жизнь. Будь это в моих возможностях, я бы предал ее суду Синедриона и замуровал в скале, как это делали древние. Но где тут в Нью-Йорке Синедрион? Я бы мог собрать, пожитки и уйти восвояси. Но куда, скажите, идти? И что бы я с собой делал дальше?

Ночью она умолила меня лечь вместе с ней и плакала на моей груди, как маленькая девочка: "Скажи, что я должна сделать? Если хочешь, я умру вместе с тобой, только, чтобы доказать, что я принадлежу одному тебе — и никому другому!" Она так рыдала, что под нами ходуном ходила кровать. Вы назовете меня идиотом, но я успокаивал ее. Я говорил, что все это не так уж страшно и чувствовал, как зуб не попадает на зуб.

В эту ночь мы друг другу поклялись, что с Максом все кончено, но в глубине души я знал, что это не так. У Абота сказано, что один грех порождает другой. Только один шаг в сторону, и все табу летят в пропасть.

Вы пишете о религии, свадьбах и сексе, и вам кажется, что вы понимаете современного человека со всей его многоликостью и подстерегающими ловушками. Максимум, на что вы способны, — это осудить его, но бессильны указать ему путь

обратно, к вере. Он потерял Бога и потому не в состоянии вести себя, как его деда и отцы.

Той ночью Геня, приняв пару таблеток валиума, в конце концов, уснула. А я так и не смог сомкнуть глаз. Одед пижаму и, нащупав ногами ночные туфли, отправился в свой кабинет. Я разглядывал полки с книгами, понимая в душе, что ни одна не подскажет, как мне поступить. Чем они могут мне помочь — Толстой или Бальзак, или Диккенс? Несмотря на свою гениальность, они также бессильны, как я. Неожиданно я увидел томик Талмуда и про себя подумал: "Уж не потому ли все мои несчастья, что я потерял веру? Может быть, надо вернуться к Богу?"

Я открыл трактат Бецах и, как когда-то в прошлом, погрузился в чтение. Яйцо, снесенное в день праздника, разрешается съесть, — утверждают ученики рабби Шамая. Те же, что из школы Гилеля, говорят обратное: такое яйцо не может быть съедено. Добрые полчаса я распевал себе под нос и раскачивал головой, как ученик Ешивы. Я чувствовал, какую-то сладостную ностальгию, но мало-помалу мой окрепший дух начал слабеть. Как проверить, что эти законы действительно вручены Моисею на горе Синай? Без этой уверенности — все они пустая схоластика.

Я почувствовал усталость и вернулся обратно к Гене, с которой мы спали в одной кровати.

В эту ночь я пришел к заключению, что мужчина должен убить в себе один из сильнейших своих инстинктов — инстинкт собственника по отношению к женщине. Если существует Бог, может быть, он призывает нас именно к этому.

— И что же произошло позже?

— Не было никакого "позже". Геня дала мне клятву, которой я даже не требовал от нее: больше никогда не встречаться с Максом. Но она и по сей день продолжает с ним спать. Она ушла с работы, ей не нужно было объяснять свое отсутствие и потому она больше не нуждалась в ней. Я же вскоре потерял ко всему интерес — и к Гене с ее вечным чувством вины передо мной, и к этому подонку, и вообще ко всему, что мы называем культурой. Я не могу больше восхищаться

театром на Бродвее и картинами Пикассо, Даже подлинная литература меня более не интересует. Стена, которая отделяет этот блистательный мир от его грязного дна стала для меня слишком тонкой. Судья, адвокат и убийца, в сущности, исповедуют одни и те же идеи, читают те же самые книги, ходят в те же ночные бордели, и болтают об одной и той же чепухе. Мы возвращаемся в ту же пещеру, откуда когда-то выползли, хотя сегодня в ней есть телефон, электричество и телевидение.

Я привык к мысли, что знаю свою жену насквозь, но с тех пор, как это животное вторглось в наш дом, я начал открывать в ней все новые глубины, Даже ее голос мне теперь казался другим. Что касается Макса, то я даже не могу его более ненавидеть. Единственное, что я знаю, — он хочет того же, чего жаждут все: взять от жизни максимум наслаждений перед тем, как покинуть этот мир.

— Так он, значит, не гомик?

— Черт его знает, кто он. Может быть, мы все гомики. Кстати, забыл упомянуть одну занятную деталь: Геня начала бывать у психоаналитика. У того же, к кому все эти годы ходил Макс. Они хотели и меня сделать членом их клуба, но я предпочитаю биться лбом о Талмуд и читать про яйца, которые снесены в праздник.

Зелик Фингёрбейн замолчал. Кафе стало заполняться людьми, и я сказал:

— Двинемся, пожалуй, пока не попросили нас.

Мы вышли на Бродвей и сразу же почувствовали себя, как в раскаленной печи. Было еще светло, но неоновые огни уже зажглись, рекламируя на своем варварском наречии весь джентльменский набор наслаждений — от пепси-колы до костюмов "Бонда", сигарет "Кэмэл" и жевательной резинки "Ригли". Тепловатое зловоние клубилось над решетками сабвея. Над кинотеатром висел анонс с полуголой секс-бомбой — ростом в четыре этажа, волосы распущены в лучах прожектора, глаза горят диким блеском, ноги раскинуты, в каждой руке по пистолету. Вокруг талии развевается шаль, едва прикрывающая срамные места. Толпа разинула рты. Мужчины от-

калывают шуточки. Женщины хихикают. Я взглянул на Зеллика. Половина его лица была зеленой, другая половина красной — как на абстрактной картине. Он уставился на анонс, пожевывая губами. Один его глаз улыбался, из другого текли слезы, Я сказал ему: "Если нету Бога, то она и есть наш Бог. — Зелик Фингёрбейн вздрогнул, словно очнулся от транса. — Воистину все, что ею обещано, она может дать!"

Перевод с английского В. Борисоглебского

ПЛЕННИК

В двадцатые годы, в период экспрессионизма, кубизма и прочих измов, Зорах Крейтер оставался убежденным импрессионистом. Он был из тех уроженцев Лодзи, что предпочитают жить в Варшаве. В столице он пользовался репутацией работающего и плодовитого художника. Он работал даже за едой. Сидит, бывало, в писательском клубе, жует сосиску, и на салфетке или на бумажной скатерти рисует соседей. Он был высокий, смуглый, с зелено-желтыми глазами, острый череп без всякой растительности, а широкий рот — в постоянном движении. То он похвалялся своими победами по дамской части, то заливал всякие байки о Лодзи и Париже, в котором частенько бывал, Где-то в Лодзи у него жила жена, но он вроде бы с ней развелся, Его отец, по его рассказам, был когда-то богат, но потерял нажитое из-за махинаций компаньона. А вообще он столько сочинял, что я так и не знал толком, действительно ли у него есть собственная мастерская в Варшаве, как он говорил, или он делит помещение с кем-то еще, в самом ли деле зарабатывает большие деньги, или живет впроголодь. Ходил он всегда в одном и том же коричневом костюме, из карма-

нов вечно торчали блокноты, уголь, газеты; передвигался на своих длинных ногах исключительно бегом, с вечно прилипшей к нижней губе сигаретой. И говорить нормально он тоже не умел — кричал, гоготал, стучал кулаками по столу и без конца разорялся по поводу вещей, которые всем были до лампочки. Я пару раз покупал у него наброски, которые он с меня делал, по пять злотых за штуку, и он неизменно говорил:

— Если я захочу, я могу продать их по тысяче злотых.

— Почему же вы этого не делаете?

— А зачем мне столько денег? Вот вы возьмете эти рисунки, а через пятьдесят лет они будут стоить целое состояние.

Как-то в начале 30-х годов он уговорил меня позировать для портрета маслом, но так и не приступил к работе. А немного погодя мне сказали, что он уехал во Францию. Вскоре в писательском клубе пронесся слух, будто Зорах Крейтер "завоевал" Париж. Статьи о нем появились во французской прессе. Музеи покупали его работы. Мне рассказывали, что он ни копейки не посылал жене, и она в конце концов заявила в Париж и устроила там хороший скандал. В разгар событий я уехал в Америку. Рисунки Крейтера остались в мебелирашке, где я жил.

Началась война. В 1945 году прошел слух, что Зорах Крейтер погиб. Говорили, что он мог сбежать в Марокко, но остался в Париже, и фашисты посадили его в концлагерь. Его жене удалось добраться до Палестины, и она выжила.

Все это мне рассказал художник Тобиас Анфанг, приехавший в 1940 году в Нью-Йорк из Парижа. Это был маленький тихий человек, с круглым лицом, курчавыми русыми волосами и розовыми глазами альбиноса. Он много лет прожил в Германии, был женат на немке, она родила ему двух сыновей. После прихода Гитлера к власти немка показала в суде под присягой, что дети — не от Анфанга, что их отец ариец. Брак был аннулирован. Тобиас Анфанг бежал в Париж, там он снимал мастерскую вместе с Зорахом Крейтером. По его словам, Зорах был гений. Знал Анфанг и жену Зораха, Соню. Я спросил, что она за человек, "Мерзкая скандальная баба", — ответил он.

Наш разговор происходил в кафе на Нижнем Бродвее. Тобиас Анфанг узнал меня по фотографии в еврейской газете и предложил встретиться. На нем был бежевый вельветовый пиджак и черный галстук. Показывая мне блокнот с рисунками, он рассказывал о Зорахе Крейтере. Крейтер мог съесть двадцать рогаликов зараз, а потом три дня не прикасаться к еде. Он мог улечься на садовую скамейку и проспать десять часов кряду. Тобиас Анфанг однажды был свидетелем того, как Зорах трахнул полдюжины проституток, одну за другой. Жену Зораха Соню, он изображал уродливой истеричкой, нимфоманкой и делягой.

Мы усидели по две порции рисового пудинга и выпили несчетное множество чашек кофе, и Тобиас Анфанг пригласил меня в свою студию. Это была маленькая комнатка в пансионе в Гринвич Виллидж. Вся мебелировка состояла из сломанного стула и железной кровати, на которую были навалены холсты, палитры, кисти, рамы и какие-то тряпки. Пол был усеян окурками. Окно упиралось в красно-кирпичную стену. Он показывал мне картины, которые меня поразили — я никогда не видел таких красок и форм. Он выслушал мои восторги, церемонно поблагодарил и сказал:

— Всему этому грош цена в базарный день,

— Вы больше не верите в искусство? — спросил я,

— Я больше ни во что не верю,

— Но тогда что же делать?

— Ничего. Все пропало — все было обречено с самого начала.

Он мне нравился, и хотя я был беден, я решил заказать ему портрет, но он оборвал меня:

— Зачем вам это нужно? — сказал он, — В мире, где человеческие существа сжигают в газовой камере, кому нужно искусство? Со всем этим вздором пора покончить.

Однажды я пригласил его поужинать, и мы оказались в том же кафе. Он снова завел речь о Зорахе Крейтере.

— Что он сейчас? Горстка праха. Вы верите в существование души? Хотя — из того, что вы пишете, ясно, что верите, Душа тоже прах.

— Кто создал мир?

— Где-то в космосе зародилась материя, лежала там много лет и воняла. Из этой вони и возник мир.

— А откуда взялась материя?

— Какая разница? Главное — что нам не перед кем отвечать, ни перед собой, ни перед другими. Секрет вселенной — это апатия. Земля, солнце, скалы — все охвачено апатией, и это вроде как бы пассивная сила. Может, безразличие и гравитация — это одно и то же.

Говоря все это, он зевал. За едой он непрестанно курил.

— Почему вы столько курите? — спросил я.

— Это помогает мне сохранять безразличие.

Какое-то время мы встречались в кафе или в публичной библиотеке. Он наконец начал писать мой портрет, испортил несколько холстов. От предложенного мною аванса он отказался. Рисуя, он непрерывно говорил о Зорахе Крейтере. У Зо-раха якобы была жена до Сони, портниха, она покончила с собой. В Париже у него была любовница, художница, она сошла с ума и кончила свои дни в психушке.

Тобиас Анфанг говорил:

— Я знаю, что никакой души нет, но я чувствую присутствие Крейтера. Ночью, когда я выключаю свет, он тут как тут.

— Вы его видите?

— Если бы я его видел, я бы тоже был кандидатом в психушку. Это чисто субъективно. Он обладал огромной гипнотической силой.

— Почему же он не использовал ее, чтобы исправить свою судьбу?

— Тех, у кого есть такие силы, не интересует собственная выгода. Они вечно бегут от самих себя и начинают жить только после смерти.

После нескольких попыток написать мой портрет Тобиас Анфанг отказался от этой затеи. Он никак не мог добиться сходства. Комментировал он это так:

— У вас каждый день другое лицо. Оно меняется даже во время сеанса. Нужно быть Зорахом, чтобы схватить его.

Однажды Тобиас Анфанг сообщил мне, что возвращается в Париж.

Там мне тоже делать нечего, — пояснил он, — но там легче быть безразличным.

* * *

В пятидесятые годы я поехал в Израиль, и газеты сообщили о моем прибытии. В одно прекрасное утро раздался телефонный звонок. Сняв трубку, я услышал нечленораздельное бурчание.

— Кто это? — спросил я, — Говорите громче.

— Это Тобиас Анфанг говорит. Вряд ли вы меня помните.

— Я вас очень хорошо помню.

— В таком случае у вас прекрасная память.

— Когда вы приехали в эту страну?

Он ответил не сразу. Наконец он произнес:

— Я здесь уже пять лет, но этого никто не знает. Это длинная история.

— Вы скрываетесь?

— Вроде того.

— Но с какой стати?

— Об этом не расскажешь в двух словах, а мне надо соблюдать особую осторожность в том месте, откуда я звоню. Я очень хочу с вами увидеться. Я, можно сказать, попал в ловушку и... — Он оборвал фразу.

— Это как-то связано с правительством? Вы здесь незаконно?

— Как еврей может находиться в Израиле незаконно?

— Но что же случилось?

— Это не телефонный разговор. Может, нам удастся повидеться. Я выхожу редко, но я могу к вам прийти. Я ведь не в тюрьме, — добавил он с хихиканьем.

— Приходите ко мне в гостиницу.

— Для меня это не близкий свет, придется добираться довольно долго.

— Очень хорошо, я буду рад видеть вас.

— Умоляю вас, никому ни слова об этом звонке. Я здесь позабытый человек, вроде привидения, хотя и не такое, о которых вы пишете. Вы один?

— Да.

— Очень хорошо, спасибо. Извините за... До скорого.

Этот звонок пробудил мое любопытство. Что с ним такое стряслось? Может, вернулась его немецкая жена, и он от нее прячется? Я спустился позавтракать, купил газету на иврите и сел за столик на улице, в тени навеса. Посасывая через соломинку ледяной кофе, я поглядывал на улицу. Напротив арабский торговец продавал фиги, финики и виноград с тележки, в которую был впряжен ослик. Я слышал, как он разговаривает с покупателями на смеси иврита, идиша и арабского. Ослик то и дело встряхивал головой, а потом застывал неподвижно. Солнце палило как бешеное. Откуда-то прилетела бабочка, опустилась на жестяную миску весов араба. Из переулочка ко мне подковылял нищий, с головой, свороченной налево, скрюченная правая рука была протянута за подаванием. Я дал ему несколько монет. В газете писали о кражах, автомобильных катастрофах, пограничных перестрелках. Одна страница была сплошь занята некрологами, Нет, Мессия пока еще не пришел, и воскрешения мертвых тоже не предвиделось. В магазине напротив продавали ортопедическую обувь.

Позавтракав, я вернулся к себе в комнату и попытался соснуть: ночью я плохо спал. Но телефон звонил без конца, и не прошло и часа, как я встал и поднял жалюзи. В комнату хлынул дневной свет. На балконе напротив лежал в шезлонге под солнечным зонтом пожилой, болезненного вида человек, обложенный подушками. На нем был черный халат, с виду шелковый, и такая же ермолка. Молодая женщина, наверное, дочь, принесла ему питье, и я заметил, что перед тем, как выпить, губы его зашевелились в молитве. Я взглянул в бледно-голубое безоблачное небо. Где же Бог Израиля? Чего он медлит?

Около трех в дверь постучали. На пороге стоял Тобиас Анфанг. Он казался еще меньше, чем в Нью-Йорке, — бледный, постаревший, сутулый. Остатки волос стали рыже-седыми. Он уставился на меня из-под соломенных бровей, поморгал розовыми глазами альбиноса и заметил:

— А вы все тот же, ничуть не постарели.

Я предложил ему посидеть на террасе, но он отказался. Я

вызвал служащего и заказал холодные напитки. Тобиас Анфанг осмотрел комнату, словно он подозревал, что тут кто-то спрятался, чтобы шпионить за ним.

— Вы уверены, что за стеной нас никто не услышит? — спросил он.

— Не волнуйтесь, никто,

Мы поговорили об Израиле и Америке. Потом Анфанг сказал:

— Со мной приключилась странная история, но чем больше я об этом думаю, тем больше чувствую, что это было неизбежно. Это даже не трагично, это смешно.

— Да что случилось? К вам вернулась жена? — мне хотелось показать ему, что я догадываюсь, в чем дело. Он посерьезнел, даже помрачнел.

— Я ничего не знаю ни о ней ни о детях. Если они живы, они уже взрослые. Они совершенно исчезли.

— Вы пытались их отыскать?

—Нет.

Горничная, йеменка, принесла чай с печеньем. Тобиас Анфанг подозрительно осмотрел ее и покачал головой.

— Нет, моя история никак не связана с моей женой. Я слышал, что она вышла замуж за нациста и он пропал где-то в России. Да ведь она показала под присягой, что изменяла мне, что мне теперь до нее? Для меня все они умерли. Я приехал сюда, во-первых, чтобы быть евреем, а во-вторых, я думал, может, я найду путь к еврейскому искусству. Да и куда еще я мог отправиться без гроша в кармане? И кого, вы думаете, я тут встретил? Вдову Зораха Крейтера, Соню. Она сказала мне, что ей удалось спасти кое-какие его работы и теперь она их продает. Я ей не поверил — как она умудрилась спасти холсты, удирая от нацистов? И вот теперь я вам раскрою тайну — Боже упаси вас проронить хоть слово об этом. Я загорелся увидеть последние работы Крейтера, и я попросил у Сони позволения зайти к ней. Сначала она отделивалась от меня всякими отговорками, а потом наконец призналась, что эти картины, которые она продает, не Крейтера.

— А чьи же?

— Она познакомилась с каким-то жуликом-копиистом, и он делал фальшивки. Как они обошли критиков и так называемых искусствоведов, — загадка, хотя и не слишком трудная: это сборище идиотов.

— Ну и мошенница эта Соня, — сказал я.

— Я тоже мошенник.

— Что вы имеете в виду?

— Когда этот шарлатан уехал — кажется, в Австралию, — я стал писать картины Крейтера.

— Зачем?

— Я не хочу оправдываться, но я был голоден и болен, и мне была нужна женщина. В Нью-Йорке можно прожить аскетом, в этом климате такое немыслимо. Она взяла меня к себе и дала мне все, в чем я нуждался. У меня нет честолубия, да, наверное, и характера тоже.

— И они верят, что это подлинные работы?

— Но я и на самом деле стал воплощением Зораха Крейтера.

Мы помолчали, потом Тобиас Анфанг сказал:

— Когда я прочитал в "Хаареце" о вашем приезде, мне захотелось рассказать вам правду. С такой тайной трудно жить. Мы с Соней — настоящие заговорщики. Холсты я приношу к ней ночью. Если бы кому-нибудь взбрело в голову хоть пальцем шевельнуть, все это тут же бы раскрылось. Она уже продала больше работ Крейтера, чем он мог сделать за свою жизнь. Но ни торговцев картинами, ни покупателей это не волнует. Владелец галереи, может, и догадывается, но ему-то что до этого? Он получает свою долю и молчит. Я слышал, что в Америке есть писатели-"негры", но "негр"-художник, это, верно, сониная идея. Не знаю, почему я вам это рассказываю. Конечно, я нахожу для себя всякие оправдания. Я убежден, что действительно делаю хорошие работы, пусть и с подделанной подписью. В словаре это называется мистификацией, а не фальшивкой. Да ведь и раввин Моше де Леон написал Зохар под именем раввина Шимона бен Йохан.

— Да, это верно.

— У вас есть немного терпения?

— Сколько угодно.

— Я читал ваши книги и знаю, что вы поймете меня, — сказал Тобиас Анфанг. — Я часто чувствую, что душа Крейтера завладела мной. Вы видели мои работы в Нью-Йорке. Когда я их делал, я был еще собой — Крейтер был далек от меня, как небо от земли. Здесь я стал Крейтером. То, что я делаю, это не подражание, это органично, мне не нужно для этого никаких искусственных стимулов. А когда я пытаюсь превратиться в себя прежнего, это невозможно. Сначала я носился с идеей писать в двух разных стилях и выставлать вещи, которые отражают мою сущность, но из этого ничего не вышло. Тобиаса Анфанга больше нет — это похоже на историю из книжки об оккультных науках или на случай с раздвоенной личностью. Мне было трудно пройти через эту метаморфозу. Конечно, я им восхищался, но мы были абсолютно разными людьми. Он был экстравертом, я — интроверт. Он был во всех отношениях человек необыкновенный. Я живу с его вдовой и слушаю совершенно поразительные рассказы про него. Иногда я не могу толком понять, с кем провел ночь — с ней или с ним. Стыдно признаться, но я буквально ее пленник. Она не разрешает мне никуда ходить, даже общаться с художниками. Мы оба живем в Яффе. Ей дали большой дом сбежавшего араба — шейха или Бог знает кого. А мне удалось получить какую-то развалюху, в районе, где живут йеменцы и нищие. Даже кафе поблизости нету. Раньше там жил арабский сапожник, а вы, верно, знаете, в каких жутких условиях живут арабские рабочие. Окна в комнате нет, вместо двери — занавеска. Даже когда на улице солнце, в доме темно, как у негра в заднем проходе. Я пишу в темноте и часто думаю, что делаю это автоматически. Моей кистью водит чужая рука. Когда я ставлю холст на мольберт, я понятия не имею, что буду писать, и часто понимаю смысл своей картины, только кончая ее. Самое неприятное, что с Зоухом тоже произошла трансформация. Его живопись была более или менее реалистична. Постепенно стиль его становился абстрактным, не полностью, но частично. Я пишу с фантастической легкостью, и это меня пугает. Если бы я верил в бессмертие души и всякое такое, мне было бы легче.

— Это ваше подсознание.

В глазах Тобиаса мелькнули смешинки.

— Я боялся, что вы это скажете. Стыдитесь, это же пустое слово.

— Не более пустое, чем слова "сознание", "воля" или "эмоция".

— Это выхолощенная фраза. Что такое подсознание?

Мы пили чай, ели печенье, молчали. Потом я спросил:

— А эта Соня — что она такое?

Тобиас Анфанг отодвинул стакан:

— Она ведьма. В Париже я ее терпеть не мог. Зорах от нее бегал, как от чумы. Сколько раз мы с ним сидели в Куполе или Доме, она прибегала, устраивала сцены. Я даже пару раз видел, как она его била. Да я и сам с ней скандалил. Она мне была так противна, что я просто не мог понять, как это Зорах в нее влип. Здесь она ведет себя по-другому. Ею владеет диббук* — она, как и я, стала воплощением Зораха Крейтера. На самом деле я ей вовсе не нужен. Мне кажется, она и сама могла бы работать под Зораха, но она лентяйка. Днем она никогда не бывает дома: сидит часами в тель-авивских кафе. У нее полно друзей. Она без конца путешествует в Иерусалим и Хайфу, якшается там с профессорами, писателями, политическими деятелями. В этой стране есть группа вдов всяких важных деятелей, и она ими заправляет. Здесь раньше никто не слышал о Зорахе Крейтере, но благодаря ей, он стал знаменит. Они превозносят ее в газетах — на страничке юмора, в пятницу. В общем, при всем при том, Тобиаса Анфанга больше не существует.

— У вас нет родственников?

— Здесь нет. Есть несколько человек, с которыми я был дружен в Париже и Америке, но они не знают, где я. Я бы и с вами не сумел повидаться, если бы Соня не уехала в Цфат Там коммуна художников, и она пытается ими заправлять. В общем все это забавно.

— Пейте, чай остынет.

*См. примечание к рассказу "Портфель",

— Ничего, не волнуйтесь.

— Как вы можете спать с такой сукой?

Тобиас Анфанг задумчиво мешал чай.

— Это тоже целая история. На самом деле я сплю не с ней, а с Зорахом, Вроде как бы гомиком заделался на старости лет. Мы говорим только о нем — это единственное, что меня возбуждает. Вот вы сказали о подсознании. Я читал Фрейда и прочих. В теории я все знаю, но ведь понять — еще не значит вылечить. Да и не для меня это — лежать на кушетке у психоаналитика. Ведь Израиль — одна большая деревня: не успеет к вам на нос муха сесть, как об этом все знают. У Сони хватает ума не посылать картины на выставки — чтобы критики чего не заподозрили. У нее железная деловая хватка, и ей всегда удается получать самые высокие цены. Но мне она все равно платит гроши. По правде сказать, она обращается со мной, как с собакой или кошкой.

— Она не может заставить вас остаться здесь. Вы могли бы уехать в Париж или Америку,

— Зачем? Я влюблен в Израиль. Эта страна меня очаровывает. Когда-то я проповедовал философию безразличия, но здесь никто не может быть безразличным. По ночам, когда светит луна и я гуляю по узким аллеям, я пленяюсь этой землей. Если я куда-нибудь переберусь, я умру с тоски. Я слоняюсь возле моря и буквально слышу слова пророков. Я знаю, мне это только кажется, но я окружен древними израильянами и даже ханаанеями и другими народами, которые предшествовали Яшуа бен Нун. Я жил в Алжире и Марокко. Там ко мне являлись духи башибузуков, убийц, маньяков. А эта земля кишит святыми и героями. И хотя я не верю в Бога, я слышу его голос. Нас, евреев, взял в полон атавизм, и это сильнее даже инстинкта самосохранения. Неужели вы этого не чувствуете?

— Начинаю чувствовать,

— Ради собственного спасения — бегите, пока не поздно. Если вы пробудете здесь хотя бы полгода, вы уже не сможете оторваться.

— И вы все еще считаете себя атеистом? — спросил я.

— Какая разница, кто я? Я хотел бы, чтобы вы познакомились с Соней и посмотрели мои картины. Она читала ваши книги, и когда в газетах появилось сообщение о вашем приезде, она ужасно разволновалась. Обычно она мало спит, не больше 2-3 часов. А в ту ночь она и вовсе не спала и до рассвета говорила о вас.

— А что она знает обо мне?

— Зорах ей о вас рассказывал. Я тоже часто говорил с ней о вас — сам не знаю, почему.

— Как мне с ней связаться?

— Позвоните ей, только не упоминайте моего имени. Вы не должны знать, что я здесь. Если она захочет, она устроит нам свидание втроем. Но вы должны ей представиться как друг Зораха. Она живет в вечном страхе, что ее тайна раскроется. Это ее фобия.

Он замолчал, и я открыл дверь на балкон. Жара обожгла лицо. Я смотрел на крыши, окна, балконы, магазины и думал: почему это так отличается от Бруклина? Нет, это не обычный хамсин, это пламя с Синая. А небо над нами — это не атмосфера, это небеса с ангелами, серафимами, Богом. Этот продавец ортопедической обуви — потомок тех, кто вышел из Вавилонского изгнания, а может, тех, кого позже изгнали из Испании. Бог вернул его в страну, которую он пообещал Аврааму, когда заключал с ним сделку. Он и все прочие здесь — пленники, как и Тобиас Анфанг.

* * *

Мы с Соней ехали в Яффу в маленьком автомобиле. Она правила одной левой рукой. С запястья свисали золотые брелки. В правой руке она держала зажженную сигарету. Время от времени я искоса разглядывал ее. Маленькая, худая, смуглая, с высокими скулами, плоским, вздернутым носом с огромными, как у бульдога, ноздрями, поросший волосами подбородок выдается вперед, толстые губы, большие кривые зубы. Она без конца жала на клаксон и на чем свет кляла тех, кто загораживал ей дорогу.

— Зачем вам нужна Америка? — говорила она. — Здесь

еврейская страна. В Америке будет антисемитизм, как в Польше. И уже есть. Конечно, они могут выбрать парочку еврейских сенаторов и даже губернатора, но за каждого сенатора они подвергнут дискриминации тысячи евреев, Оставайтесь лучше здесь. Вас примут с распростертыми объятиями.

Она остановилась у здания с куполом. Из дома с лаем выбежала собака. Низкорослый, темнокожий человек, араб или йеменский еврей, что-то делал в песчаном саду. Мы вошли в большой холл, стены были увешаны картинами, как в музее. Жалюзи были спущены, и Соня не подняла их. В полумраке я различил виды Парижа, Польши, варшавский рынок, женщин в париках, мальчиков из иешивы, музыкантов, играющих на свадьбе, хасидские танцы.

— Как мне удалось все это спасти, одному Богу известно, — говорила Соня. — Это было просто чудо. Последние годы Зорах писал дни и ночи напролет, никогда в жизни он столько не работал — словно чувствовал, что конец близок. К тому же он писал мемуары, исписал несколько сот страниц. Вы, может, и не знаете, но последние несколько лет мы опять были вместе. Все недоразумения забылись, он стал верным мужем. Он диктовал мне свою автобиографию. Он часто говорил о вас с самым искренним восторгом.

— Я вижу, он стал более абстрактен, — прервал я ее.

— В последние несколько месяцев родился новый Зорах. Он раньше ужасно ругал Шагала, а потом вдруг сам стал модернистом. Он говорил мне: "Что толку копировать натуру? Художник должен создавать свою собственную вселенную". Это его подлинные слова. Он все это объяснил в своей автобиографии. К несчастью, моему идишу далеко до литературного языка, а пишу я как курица лапой. Мои каракули никто не разберет, я сама в них порой путаюсь. Мне бы нужна помощь писателя вашего ранга, чтобы разобраться в этом хаосе. Я бы вам дала тысячу деталей, и вместе мы бы создали книгу, которая удивила бы мир.

— Я возвращаюсь в Америку. Почему бы вам не найти кого-нибудь из местных писателей?

— Кого я здесь найду? Еврейские писатели забыли идиш.

Да и стоящих писателей почти не осталось, лучших уничтожили фашисты, Те, что есть, старые, больные и озлобленные. А главное, вы любили Зораха, а он любил вас...

— Что случилось с Тобиасом Анфангом? — спросил я. — Они с Зорахом были близкими друзьями. Я познакомился с Тобиасом несколько лет назад, в Америке, Он тогда внезапно исчез.

Соня испытующе посмотрела на меня выпуклыми глазами.

— Он в Израиле, но он забросил живопись. Просто растерял свой талант.

— Что он делает? Он женился?

— Женился? Не думаю. Он ведь не работает, кто за него пойдет? Он тут не один такой. Художники, которые сюда переселяются, либо возрождаются к новой жизни, либо перестают работать вовсе. Иногда я встречаю его в Яффе или Тель-Авиве. Наверное, он живет где-то тут по соседству. Вы бы его не узнали: от прежнего Тобиаса Анфанга осталась одна тень.

Но все равно, художникам в Израиле не дают умереть с голоду. Как-то он перебивается. Не хочу хвастать, но и я ему не раз помогала.

В соседней комнате зазвонил телефон. Соня вышла, и я остался один. Мне показалось, что в доме все еще сохраняются запахи арабов, некогда живших тут. В воздухе висел сладкий пряный аромат. Может, здесь был гарем. Наконец Соня вернулась.

— Пойдемте обедать.

— Спасибо, я не голоден.

— Мой гость должен быть голоден. Да и вообще мужчина должен есть, если не...

Она взяла мою руку и с кривой усмешкой прижала ее к своему телу. В столовой, куда мы вошли, был каменный стол. И здесь на всех стенах висели картины. На мраморном столе стояли миски с фруктовым салатом, сметаной, сыром и помидорами и корзинка с питтой, арабским хлебом. Толстая служанка, йеменка с огромными лошадиными глазами, подавала кофе в крохотных чашечках. Что-то восточно-церемонное было в этой трапезе — для ланча слишком поздно, для ужина

слишком рано, Несколько раз сонина нога прикасалась к моей. Теперь я мог разглядеть ее получше. У нее было загорелое, сухое, морщинистое лицо, на тощей шее с голубыми венами висели цепочки и бусы. Глаза ее были темнее, чем глаза йеменской служанки, в них сверкала таинственная темнота. Трудно было поверить, что такая сплошная чернота может видеть дневной свет. И странно — я вдруг почувствовал, что хочу это безобразное создание.

Я услышал свой вопрос:

— Как получилось, что вы не вышли замуж?

Соня отодвинула чашку:

— После Зораха? Женщина, которой выпало счастье — или несчастье — жить с настоящим художником, не может, простите за выражение, лечь в постель с обычным человеком, будь он врачом, профессором или даже самим Бен-Гурионом. Если женщиной обладал художник, она навсегда остается его пленницей. Для меня Зорах не умер, я продолжаю жить с ним, я восхищаюсь его картинами, я слушаю его слова. Стоит мне закрыть глаза — он тут как тут. Я бы ничего не добилась без его руководства. Он мне даже про ваш предстоящий приезд сообщил, вы, может, тогда еще сами не знали, что поедете сюда.

— Как он разговаривает с вами?

— О, по-разному. У меня есть планшетка для спиритических сеансов, и иногда я сижу с ней допоздна, и смотрю, как маленькая дощечка с дикой скоростью бежит по планшетке. Я к ней едва прикасаюсь. Она говорит мне вещи, о которых я бы никогда и не подумала. Я пишу автоматически. Беру карандаш, лист бумаги — моей рукой водит Зорах. А еще я слышу его голос. Я вам скажу одну вещь, только не обижайтесь: вы сюда не просто так приехали. Вы сюда были посланы, потому что Зорах хочет, чтобы его воспоминания были напечатаны, а вы единственный, кто может это сделать.

— Я должен вернуться в Америку.

— Ничего вы не должны. Вы можете остаться. Я дам вам комнату и все, что только захотите. Семьи у вас в Америке нет — к кому вам возвращаться? А здесь полно интересных женщин. Уж поверьте мне — аскетом вы не останетесь.

И Соня подмигнула мне. Снова зазвонил телефон, она вышла. Я заметил, что у нее кривые и тонкие ноги-палки. Ее опять не было несколько минут, до меня смутно доносилось ее бормотание. Когда она вернулась, лицо ее расплывалось в улыбке.

— Подумать только, какое совпадение! Это был Тобиас Анфанг. Я его Бог знает сколько времени не видела. Ну не удивительно ли? Мы ведь как раз о нем говорили. Со мной всегда такое случается. Когда я сказала ему, что вы тут, он ужасно разволновался. Буквально напросился ко мне, подъедет попозже. Анфангу необходима поддержка, у него в этой стране нет ни одного друга. Если вы останетесь в Израиле, он родится. А мы с вами тем временем можем подготовить для печати воспоминания Зораха...

Я ел сладости, запивая их крепким кофе, Соня продолжала:

— Вы верите в загробную жизнь?

— Да.

— Я так и думала, когда читала вас. Хотя ведь никогда не знаешь, действительно ли писатель так думает или это он просто для читателя пишет, Я верю в существование души, Зорах сейчас со мной. Я вижу его в вас.

— Как это может быть? Мы с ним совершенно разные люди.

— Вам так только кажется. Когда человек умирает, его душа вселяется в его друзей, в тех, кто был близок к нему, кто любил его. Одно время он дружил с Тобиасом Анфангом, и когда Тобиас сейчас позвонил, мне на минуту показалось, что я слышу голос Зораха. Такие вещи невозможно объяснить. Я сижу возле вас и ощущаю присутствие Зораха. Вы были его любимым писателем. Он часто говорит о вас в своих воспоминаниях. Несколько недель назад я не спала всю ночь, и он целый час говорил мне о вас.

— Что он говорил?

Соня лукаво взглянула на меня:

— Это пока еще секрет.

Я знал, что еще немного — я не выдержу и совершу дурацкое предательство, но я посмотрел на картины и спросил:

— Кто это писал — Анфанг?

Соня замерла:

— Что это вам пришло в голову? Это Зорах. Одна из его последних работ.

— Это напоминает мне Анфанга, — ответил я помимо воли, как будто за меня говорил кто-то другой.

— У меня нет работ Анфанга, — сердито сказала Соня. — Я вам говорила, он забросил живопись. Он из тех, кто тут сдался.

Она с бешенством посмотрела на меня, Я встревожился: такая женщина, чего доброго, и отравить может.

Я встал:

— Это все фальшивка. Никаких картин от Зороха не осталось, и мемуаров он тоже не писал.

Я направился к двери, и она побежала за мной. Мне показалось, что она швырнула в меня тарелкой. Я долго шарил в потемках в холле, прежде чем нашел дверь. На улице я едва не задохнулся от изнуряющей жары. У меня кружилась голова, заплетались ноги, с меня градом лил пот. Мне казалось, что я только что избежал большой опасности. Еще минута — и я бы пропал. Я посмотрел вперед и на дальнем углу улицы увидел Тобиаса Анфанга — сгорбленного, жалкого, высохшего, — старик, еле ноги волочит. Он заметил меня и помахал рукой. Я обернулся и увидел Соню, Она стояла, поджидая меня, с вытянутыми руками, лицо ее было сморщено торжествующим смехом, как будто мой побег был пустой шалостью и символом близости между нами. Она грозила мне пальцем, и я слышал ее пронзительный крик:

— Мишугене! Сумасшедший писака! Вернись!

Эту ночь я спал у Сони. Тобиас уверил нас, что ему нужно рано уйти. На рассвете начался дождь, который идет здесь в это время года. Сверкали молнии, гроыхал гром. Ветер выл, как тысячи шакалов. Встало солнце — коптящий фитиль в черных тучах. Утром было темно, как в сумерки. Радио сообщило, что дорога в Тель-Авив затоплена. Носильщики переносили пешеходов с одной стороны улицы на другую. Днем я сидел с Соней у камина и она диктовала мне со своей спиритической планшетки первую главу мемуаров Зораха Крейтера.

Перевод с английского Елены Гессен.

Иван ЖДАНОВ

ПРОЗРАЧНЫЙ СНЕГОПАД

1

И снова на бегу меня пейзаж встречает,
вдоль поезда летит, воронками крутясь,
и валится в окно, и потолок качает,
и веером скользит в пороховую грязь,
и крутятся, как снег, ночные перелески,
от вальса и стогов кружится голова.
И танец колдовства, и ветра переплески
рисует на лугах безмолвная трава.
Прозрачный снегопад весь этот бег венчает,
но то не снег летит, а разжимает горсть,
но то старик Харон монеты возвращает,
но то висит, как снег, летейской стужи гроздь.
И в грохоте колес, и в пересохшей Лете,
и в говоре морей — тревожный хор сирен,
и вещий Одиссей, один на белом свете,
переживает бег, задуманный, как плен,
и две его руки сквозь снегопад воздеты,

сквозь бесконечный бег, когда предела нет
шуршащим берегам ненаселенной Петы
и поезд, как снежок, разбрасывает снег.

2

Полустанок. Огни. Это поезд притих.
Это колокол ночи, отринувший взмах,
ощущает созвездья на склонах своих.
Это так же, как детство в далеких горах.
Так глаза в темноту открывает зверек
и, не видя себя, превращается в крик,
и смиряется тьма и ложится у ног.
Это снег на лету застывает на миг.
Но откуда-то вдруг вылетает состав, —
это встречный, он крутит меня на бегу
с полустанком, с огнями, от звука отстав,
надвигаясь стогами на сонном лугу.
Это снова Харон разжимает кулак.
Это линия жизни с ладони в упор
снегопадом слетает, впиваясь во мрак,
и рисует собой очертания гор.
И вершины скользят, как изгибы ужа,
и срываются в белую кровь облаков,
и трава замирает, в тумане дрожа,
укрывая себя от своих двойников.
Это горы во мне продолжают расти,
это снег надвигается с разных сторон.
Если линию жизни не спрятать в горсти,
то к кому же вернется с монетой Харон?
Кто получит монету и сможет забыть,
как Харона ладонь уменьшалась на треть,
или смерти коснуться и глаз не закрыть,
или встать в стороне — на себя посмотреть?

3

И снова летят поезда,
уже на востоке светлеет,
уже под мостами вода

от грохота их тяжелеет.
 Как осенью, как в холода,
 она навсегда безголоса,
 как в небо, глядится сюда,
 а в небе грохочут колеса.
 Найдется ли там уголок,
 в ее опрокинутом доме
 тому, кто забыться не смог
 в бессонном летейском проеме?
 А толпы вагонов под ней
 насквозь проросли облаками.
 И стало как будто темней
 в ее перевернутом храме.
 Туда простирает окно
 какой-нибудь путник невольный.
 И силится выпрямить дно
 расплавленный лед колокольный.
 Уже тяжелеет вода,
 и воздух проемами рвется.
 Уже никогда, никогда
 оттуда никто не вернется.

4

И поезд вдоль ночи вагонную осень ведет
 и мерно шумит на родном языке океана.
 Предчувствием снега блуждает огней хоровод,
 как бред шестеренок внутри механизма тумана.
 И уши закрыв, наклонившись, сидит Одиссей,
 читая кручину, один в полутемном вагоне.
 И пенье сирен надвигается тяжестью всей
 и меркнет, и реет, и слух обжигает ладони,
 И ту же кручину читая с другого конца,
 за окнами ветер проносит обрывки пейзажа,
 и вьется, и рвется, и чертит изгибы лица,
 и кружится холод, и небо чернеет, как сажа.
 И гнется под ветром холодный рассудок часов,
 зубцами срываясь, и гранями в нем цепенея.

Все ближе и ближе неведомый хор голосов,
 Все дальше и дальше относит лицо Одиссея.
 О, дом Одиссея, в пути обретающий все,
 ты так одинок, что уже ничего не теряешь.
 Дорогу назад не запомнит твое колесо.
 А ты снегопад часовому рассудку вверяешь.

5

Толпы света бредут, создавая дыханьем округу,
 узнавая пейзаж, как создание своих мятежей,
 обтекая его, голоса подавая друг другу,
 превращаясь в скопление мечущих мрак миражей.
 Так в обратный порыв увлекается бег ледохода,
 натяжением силы вживаясь в свои берега.
 Обретая себя, неподвижностью дышит свобода —
 и летят берега, и раздет ледоход донага.
 Каждый выдох таит черновик заверченного мира,
 у меня в голове недописанный тлеет рассвет.
 Я теряюсь в толпе. Многолюдная драма Шекспира
 поглощает меня, и лицо мое сходит на нет.
 Я теряюсь в толпе. Толпы света, как волны, смывают
 и уносят меня, как стихи на прибрежном песке.
 Там, где зреет строфа, там, где шепот сирен убывает
 там проносится поезд по долгой и влажной строке.
 Колесо и пейзаж на незримой оси снегопада
 с одинаковой страстью друг друга пытаются в пути.
 Начинается вдох. Открывается занавес ада.
 Крепко спит Одиссей, и снежинка трепещет в горсти.

НЕОН

Вот и слово прошло по прокатному стану неона
 Сквозь двумерную смерть и застыло багровой короной
 Над пустым магазином, над потным челом мироздания,
 Нашатырной тоской проникая в потемки молчанья.

И над желтой равниной зажженных свечей обгорают
крылья согнутых окон, и маковым громом играют
две бумажных обертки на тронном полу магазина,
ослепляя себя, как миражные пятна бензина.

Это каплю дождя, как бутон нераскрытой снежинки,
электрический свет разрезает на две половинки,
на две полых бумажки — как будто даровано право
им себя выбирать и травиться двумерной отравой.

И по желтому полю, по скошенным травам наследства
желтизной фотографий восходит размытое детство
в законное небо, мерцая прямыми углами —
море в жилы вошло и замкнулось в обугленной раме.

Плачут деньгами толпы, доносится музыка злая,
словно огненный бык здесь мочой наследил, ковыляя,
словно плачет по гриве, по конскому колобу лента,
а пустой магазин одинок посреди континента.

О, ночной магазин, в неподвижные двери экстаза
ты впускаешь меня и едва замечаешь вполглаза,
что отвесный прибой из замочных разодранных скважин
еле виден тебе. Он как будто неровен и влажен.

Это гладь фотографий сырыми дождями размыло,
это желтое поле пластами себя развалило.
Перепахано слово — и, твой зачарованный пленник,
не озноб и не страх — я держу на горбу муравейник.

Две бумажки твои догорят, задыхаясь от вони,
по прилавкам твоим разбредутся быки или кони,
и, неоновой кровью и деньгами в прах истекая
беспробудные толпы замрут, как тоска городская.

Но нельзя подчиниться, чему еще можно открыться.
На оттаявший голос поднимутся скорбные лица,

и засохнет, как кровь, посреди шевелящихся денег
так похожий на кровь и на черный пейзаж муравейник.

СТИХИ НА ПЕСКЕ

1
Я не ветка, а только предветвие,
Я не птица, а имя ее,
Я не ворон, но где-то в предветрии
Обсуждает меня ворьяне.

2
Березовый ли сок дымится или рана?
Бросай монету в щель — и вздрагивает автомат,
и, форму переняв граненого стакана,
дохнут в лицо туман и жидкий виноград.
И кажется, внутри жестянки-автомата
деревья, разломав по косточкам стволы,
срывая кожу с лиц и кошениль с заката,
торопятся назад сквозь черноту золы.
Торопятся назад, разъединяя запах
ромашки и воды, спешат обратно в прах.
И вот уже стакан на перебитых лапах,
облепленный листвой, расплескивает страх.
Торопимся и мы. Куда? Еще не смыта
со стенок бытия запекшаяся кровь.
Мы падаем в стакан — в стеклянное корыто,
и век глотает нас за славу и любовь.

3
Падая, тень дерева увлекает за собой листья...

4
И музыка поражена,
И в пряди русые рояля
Уже вплетается она.

И, воздух срезанный печалю,
Прозрачной кажется стена.

Еще чуть-чуть. Наоборот,
сначала будь стерней колючей
под снегом желтой — и вот-вот
тот шелест чуткий и дремучий
со стеблем вместе прорастет.

Наполни шорохами звук,
верни его в зерно немое,
пускай он выпадет из рук —
и прорастет, усилясь вдвое,
в молчанье брошенный испуг.

А после стены прерастут
своей прозрачностью, и лица
из тьмы появятся — и тут
никто не сможет поручиться,
что стебли нас не обоймут.

5

Когда неясен грех, дороже нет вины,
и звезды смотрят вверх, и снизу не видны,
Они глядят со стороны на нас, когда мы в страхе,
верней, глядят на этот страх, не видя наших лиц.
Им все равно, идет ли снег нагим или в рубахе,
трещат ли сучья без огня, летит полет без птиц.
Им все равно, им наплевать, в каком предметы виде,
они глядят со стороны, колючей сея свет,
и он проходит полость рук, разомкнутых в обиде,
и возвращается назад, но звезд на месте нет.
Они повернуты спиной, их не увидишь снизу,
и кто — скажите мне — хоть раз подняться выше смог,
чтобы увидеть, как течет не отсвет по карнизу,
не тень ручная — по стене, а вне лица упрек?
Как эти звезды приручить, известно только Богу,

как боль неясную унять, понятно только им.
Как в сердце черном возродить любовь или тревогу?
Молчат. И, как перед собой, пред небом мы стоим.
И снег проходит нагишом, невидим и неслышим,
и продолжается полет давно умерших птиц,
и, заменяя звездный свет, упрек плывет по крышам,
и я не чувствую тебя, и страх живет вне лиц.

* * *

Вкруг кованого гипса нагота
была крапивой зажжена, и слово
всю облегло ее, и чернота
в ней расступилась и сомкнулась снова.

И не догнать! Не перейти черту!
Едва она успела оглянуться,
как ноги вмерзли в эту черноту —
к ней невозможно было прикоснуться.

Шмелиный зной качался на свечах
черней, чем кровь в сердечном провороте.
Но совпадают цвет и суть в ночах,
и боль, как шмель, горюет о полете.

Ты, светлый ангел, и тебе не жаль
тащить меня с молитвенной кошелкой
в свою окаменевшую печаль
и надо мной размахивать иголкой?

Был месяц втопан в быт колоколов,
в часах кукушки больше не гнездились.
И зеленела тень поверх голов,
как на траве, когда мы расходились.

* * *

Над бездной, рыдая, летит альбатрос,
и небо над ним с безволосой Медведицей

и небо над ним с безволосой Медведицей
 глаза выжигая во тьме, на вопрос,
 на вопль не ответит, пока не разветрится.
 В Сахаре песчаная буря свила
 гнездо из барханов и чистит о перышки
 свой клюв, раскаленный во мгле добела,
 и бьется в тоске, рассыпаясь на зернышки.
 И что это? Чудо? Нелепость ума?
 Иль кадковой пальмы в дыму отражение
 в кафе безымянном, где даже зима
 ничком в холодильниках мрет без движенья?
 И все же Сахары песок на зубах
 скрипит, и в глазах отведенных проносятся
 слепой альбатрос, воплощающий страх,
 и бездна под столиком на руки просится.
 И ясно, так ясно опять сознаешь,
 что время непрочно, и белыми нитками
 зашито то место, где теплится ложь,
 мудра, как хрусталик, Медведицей вытканый.
 И небо придет, продавив потолок,
 и бурю в стакане расплещет пророк,
 и водка покроется копотью адовой.
 И сколько себя в темноте не выглядывай,
 уже не увидишь — глотай же песок.

РОМАНС

Расплещется звезда, не дотянув до утра,
 за домиком моим уже не расцветет
 крапива в чешуе мирад и перламутра,
 не засвистят скворцы, забыв про перелет.
 К чему холодный чай и за окном скворечник,
 тропинка, что летит стремительно под яр,
 и Брейгеля холсты, и молчаливый грешник,
 глядящий из зеркал, и осени пожар?
 И как же я любил по делу и без дела
 пред зеркалом сидеть, рассматривать лицо.
 Как раненый пейзаж, оно в меня глядело

и не было моим. Замкнувшись, как кольцо,
 неведомое мне, оно как будто знало
 все то, чего в себе я не умел найти,
 сквозь продых облаков небесной мглой дышало
 и уходило вдаль, незримое почти.
 И зеркало его, мне кажется, хранило,
 и каждый раз, уйдя от странствий и утрат,
 я снова узнавал все то же, что и было,
 и каждая черта выстраивалась в ряд.
 Но вот теперь в ночи я что-то неспокоен,
 и зеркало лежит слепое вниз стеклом,
 и я гляжу в окно, как проигравший воин,
 и битва, где я был, давно сдана на слом.
 Была ли битва та игрой или подарком?
 Я спрашивал себя и спрашивал судьбу,
 но не слепа любовь, слепа дорога парком,
 дорога на виду, у хляби на горбу.
 Когда мы шли с тобой, теряя равновесье,
 я спрашивал тебя про темень и тупик.
 Но ты была одна и, ничего не веся,
 в твоих зрачках стоял мой маленький двойник.
 Что он шептал тебе? Мне не было покоя,
 я все хотел узнать, откуда взялся он.
 Вернулся я домой, и зеркало слепое
 я положил на стол плашмя, как плоский сон.

* * *

Запомнил я цветные сны шмеля,
 плыла сквозь них ко мне моя земля,
 но неба для нее не подобрать —
 пусти моя открытая тетрадь.
 Так тучи пробегают по лицу,
 так небо приближается к концу.
 Оно уже дописано во мне,
 оставьте меня с ним наедине.

Алексей ПАРЩИКОВ

ДИТЯ ПЕСКА, Я ЖИЛ ПОЛЗКОМ

ЧАС

Я прекращен. Я — медь и мель.
В чуланах Солнечной системы
Висит с пробоинами в шлеме
Моя казенная модель.

Я знал старение гвоздей.
На стенке противоположной
Висит распятое не новей,
Чем страх упасть. И это — ложно.

Что ожидает Капернаум,
Что ожидает всякий город,
Зачем и ты лицом развернут
В мою крошащуюся заумь?

Дитя песка, я жил ползком,
И пару глянцевого черешен

Катал по небу языком,
Землей их вкус уравновешен.

Кукушки, музыка — часам
Всегда даровано соседство.
Три форкиады по бокам,
А я — их зрячее наследство.

Как выпуклы мои пружины!
Вослед со криком петушиным
Сестрицы кончили с собой.
Пустые залы. День второй.

СВЯТОГОРСК

Это маковый сон — состязание крови с покоем
Меловым, как сирена. И чудится: ртутный атлас
Облегчает до глянца пространство земли волевое,
Где вершится распад, согревающий небо и нас,

Там катается солнце — сей круг, подавившийся кругом,
Металлический крот, научившийся верить теням,
И трещит его плоть, и визжит искрородно над плугом,
И возносится вверх, грохоча по дубовым корням.

Дважды шлах был повторен, и время повторено дважды.
Как цепные мосты, повисая один над другим,
Шли колонны солдат, дребезжали оружием миражным,
Кто винтовкой, кто шпагой, кто новеньким луком тугим.

Пробираясь туда, где скалистый обгуленный тигель
Гасит весом своим от равнин подступающий зной.
Здесь трудились они, здесь они на секунду воздвигли
Неприступный чертог — саблезубый собор навесной.

* * *

В.С.

Ни эту глиняную статью,
 Ни свежесть звездного помола,
 Ни дать ни взять не передать
 Без слепоты и произвола.

И мне волшебных черепах
 Напомнила стенная утварь,
 Каленый свет вбирая внутрь,
 Керамика шипит в шелках.

Ах, нас расплющили уже
 Сии оракульские блюда,
 Одновременно, обоюдно
 Мы выплывем на вираже.

Печаль не знает торжества,
 Но есть такая точка грусти,
 Когда и по кофейной гуще
 Гадать — не надо мастерства.

* * *

Как бережно отпаривают марку,
 Снимается с Днепра бумажный лед.
 Переводной картинкой каждый год
 Мне кажутся метаморфозы марта.

И как всегда, нисколько не иначе,
 Церква кристаллизуется из снов,
 Вся первый приз — она в балетной пачке
 Белилами запачканных лесов.

Магнитная, серьезная вода,
 В ней полнота немых книгохранилищ,

В ней провода запущенных удилиц
 И тронного мерцанья правота.

Опять причал колотит молотком
 По баржам — по запаянным вселенным,
 И звук заходит в реку босиком,
 И отплывает брассом постепенно.

ЛИМАН

По колено в грязи мы бредем и бредем без оглядки
 И сосет эта хлябь, и живут ее мертвые хватки.

Здесь черты не провести, и потешны мешочные гонки,
 Словно трубы Господни, размножены жижей воронки.

Как и прежде, мой ангел, интимен твой сумрачный шелест.
 Как и прежде, я буду носить тебе шкуры и вереск.

Только все это — блажь, и накручено долгим лиманом,
 По утрам — золотым, по ночам — как свирель деревянным.

Пляшут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья,
 На земле и на небе не путь, а одни перепутья.

В этой дохлой воде, что колышется, словно носилки,
 Не найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки.

Только камень, похожий на тучку, и оба похожи
 На любую из точек вселенной, известной до дрожи.

Только вывих тяжелой, как спущенный мяч, панорамы,
 Только яма в земле, или просто — отсутствие ямы.

* * *

Еще до взрыва вес, как водоем,
 был заражен беспамятством, и тело

рубашками менялось с муравьем,
сбиваясь с муравьиного предела.

Еще до взрыва — свечи сожжены,
И вполплеча развернуто пространство;
Там не было спины, как у Луны,
Лишь на губах — собачье постоянство.

Еще: до взрыва не было примет
Иных, чем суховей, иных, чем тихо.
Он так прощен, что пропускает свет,
И в кулаке горячая гречиха.

Зернился зной над рельсой и сверкал,
Клубились сосны в быстром опереньи.
Я загляделся в тридевять зеркал.
Несовпадение лиц и совпадение.

Была за поцелуем простота.
За раздвоением — мельтешенье ножниц.
Дай Бог, чтобы осталась пустота.
Я вижу в том последнюю возможность.

Хоть ты, апостол Петр, отвори
Свою заледенелую калитку,
Куда запропастились звонари?
Кто даром небо дергает за нитку?

* * *

В.Д.

Темна причина, но прозрачна
бутыль пустая и петля.
И, как на скатерти змея,
Весть замкнута и однозначна.

А на столе, где зло сошлось,
среди зависти клетушной,

как будто тазовая кость,
качалось море вкривь и вкось
светло и простодушно.

Цвел папоротник, и в ночи
купальской, душной, влажной
под дверью шарили рвачи,
а ты вертел в руках ключи
от скважины бумажной.

От черных греческих чернил
до пестрых перьев Рима,
от черных пушкинских чернил
до наших анонимных.

Метало море на рога
под трубный голос мидий
слогов повторных жемчуга
в преображенном виде.

То ли гармошечкой губной
над берегом летало,
то ли, как ужас, — сам не свой —
в глуши реакции цепной
себя распространяло.

Без Моисеевых страстей
стремглав твердеют воды:
они застыли мощью всей,
как в сизом гипсе скоростей
беспамятство свободы.

Твой лик, условный как бамбук,
как перестук, задаром
был выплеснут на старый круг
испуга, сна, и пахло вдруг
сожженной гитарой,

И ты лежал на берегу
 воды и леса мимо.
 И море шепчет "ни гу-гу".
 И небо — обратимо.

* * *

Рокировались косяки,
 Упали перья на костер.
 Не расшифрованных озер
 Сентиментальные катки.

А там — в альбомном повороте,
 Как зебры юные на льду,
 Арбитры шайбу на излете
 Зачерпывают на ходу.

Стоит дремучая игра.
 Членистоногие ребята
 Снуют и злятся. Пеленгатор
 Воспитан в недрах вратаря.

Зима — чудесный кукловод!
 Мороз по ниточке ползет
 Ко дну, где рыбы плавники
 На взводе стынут, как курки.

* * *

В.Ч.

Как впечатленный светом хлорофилл,
 От солнца образуется искусство,
 Произрастая письменно и устно
 В Христе и женщине и крике между крыл.

Так мне сказал во сне соученик,
 Предвестник смуглых киевских бессонниц,

* * *

Скажу, что между камнем и водой
 Червяк есть — промежуток жути. Кроме —
 Червяк — отрезок времени и крови.
 Не тонет нож, как тонет голос мой.

А вешний воздух скроен без гвоздя,
 И пыль скрутив в горящие девятки,
 Как честь чужую бросит на лопатки,
 Прицельным духом своды обведя.

Мария! пятен нету на тебе.
 Меня ж давно литая студит ересь,
 И я на крест дареный не надеюсь,
 А вознесусь, как копоть по трубе.

Крик петушиный виснет, как серьга
 Тяжелая, внезапная. Играют
 Костры на грубых лирах. Замолкают
 Кружки старух и воинов стога.

Что обсуждали пять минут назад,
 Зачем случайной медью похвалялись,
 Зачем в медведей черных обращались,
 И вверх чадающим зеркалом летят.

Но не заштриховать запретов
 Обводным эллипсом лица:
 Фаланги пальцев в тесном гетто
 За неразрывностью кольца.

...Сквозь тамбур мчит страна навывлет.
 Вдоль шпал, порядкам вопреки,
 Спасательного свойства плыли
 По лужам чуткие круги.

Он был слепой, и зерна тонких звонниц
Почуял, перебрав мой черновик.

Я знал, что чернослив и антрацит
Один и тот же заняли огонь,
Я знал, что речка, как ночной вагон,
Зимою сходит с рельс и дребезжит.

Да, есть у мира чучельный двойник,
Но как бы ни сильна его засада,
Блажен, кто в сад с ножом в зубах проник,
И срезал ветку гибкую у сада.

А на ноже срастались параллели,
И в Судный день они зазеленели.

* * *

О, как чистокровен под утро гранитный карьер,
В тот час, когда я вдоль реки совершаю прогулки,
Когда после игрищ ночных вылезают наверх
Из трудного омута жаб расписные шкатулки.

И гроздьями брошек прекрасных набиты битком
Их вечнозеленые нервные склизкие шкуры,
Какие шедевры дрожали под их языком,
Наверное, к ним за советом ходили авгуры.

И яблок зеркальных пугает трескучий разлом
И ядерной кажется всплеска цветная корона,
Но любят, когда колосится вода за веслом,
И сохнет кустарник в сливовом зловоньи затона.

В девичестве — вяжут, в замужестве — ходят с икрой,
Вдруг насмерть сразятся, и снова уляжется шорох,
А то, как у Данта, во льду замерзают зимой,
А то, как у Чехова, ночь проведут в разговорах.

АВГУСТ

Проспи до августа. Сквозь сон все разъяснится.
Там от замашек звезд и сумрак боязлив.
Холодных яблок набожные лица
Уставятся на маятники слив.

Пока — базары в ягодной ветрянке,
Где можно прыгать сквозь кружочки цен,
Где у прилавков в пышной перебранке
Цветами бьет торгашеский акцент.

Стручки прозрачные термометров присохли
К окошкам позвоночником шкалы,
Над городом в испарине и соли
По шею в ртуть забрел предел жары...

Проспи до августа. Луны крошится эллипс,
Фосфоресцирует песчаник вслед ступням,
Салюты крючьями вонзились и осели,
Как ласты, подбегая к небесам.

И стружки ржаний разрыхляют сон
На бритых, словно рекруты, покосах,
И в гуще алебардовых осок
Я перед Богом — словно пленный босый.

Артезианский август — до отказа.
Бужу тебя, продрогшую во сне...

БОРИС ХАЗАНОВ

Я ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ

ОДНОТОМНИК ИЗБРАННОЙ ПРОЗЫ 350 стр.

Однотомник избранной прозы Бориса Хазанова включает три произведения, которые объединены общей темой. Эта тема — "антивремя", эпоха, давшая жизнь поколению, чье детство и юность протекли в промежутке между двумя мировыми войнами. Вместе с тем антивремя — это время, обращенное вспять, упорядоченное нашей памятью и как бы переживаемое заново.

Повесть "Час короля" — история вымышленного миниатюрного государства, оккупированного нацистской Германией.

"Я Воскресение и Жизнь" — семейная драма, в центре которой стоит ребенок.

"Антивремя" — роман, действие которого, как и в предыдущей повести, происходит в Москве. Это история любви, связавшая трех молодых людей и рассказанная много лет спустя ее единственным оставшимся в живых участником. В роман вплетена тема "двойного отцовства" — русского и еврейского, которая становится частью общей темы исторической судьбы страны. Написанная в конце 70-х годов, книга вместе со всеми черновиками была арестована КГБ и позднее написана автором заново.

Все три произведения Бориса Хазанова, писателя, работающего в современной аналитической манере, с использованием многозначной символики и фантастики, но пишущего ясным, лаконичным и гармоническим языком, воспроизводят одну и ту же жизненную ситуацию — одиночество человека, отстаивающего свое достоинство перед грозными силами неумолимой Истории, деспотического Государства и своего собственного душевного подполья. Книги Бориса Хазанова не относятся к роду политической, идеологической, националистической или какой-либо иной ангажированной литературы, "Душа мытарствует по России в XX веке" — в этих словах Блока заключена вся его программа.

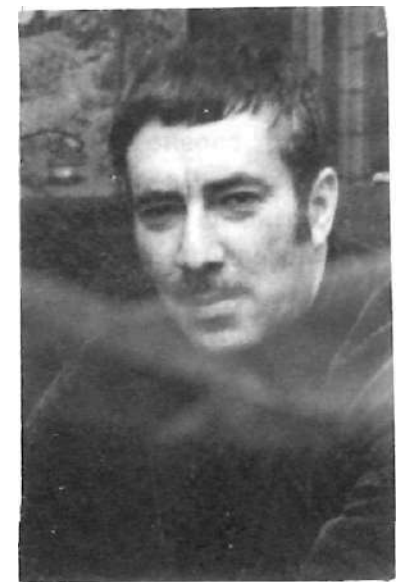
Заказы и чеки присылайте на адрес издательства:

Time and We

475 Fifth ave, suite 511-A, New York, New York, 10017

Цена 15 долларов, включая пересылку

**ПУБЛИЦИСТИКА. КРИТИКА.
ИСТОРИЯ**



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

СОВЕТСКИЙ РЕЖИМ И ЭМИГРАНТСКИЕ ПРОГНОЗЫ

Мысли, навеянные возвращением Светланы Аллилуевой и статьей "Возвращение Большого брата"

Все мы помним, какую сенсацию на Западе вызвал побег из СССР Светланы Аллилуевой. США немедленно предоставили ей политическое убежище. Журналисты не отступали ни на шаг. За ее книги "Двадцать писем другу" и "Только один год" дрались крупнейшие западные издатели, предлагая фантастические суммы автору. Словом, дочь Сталина удостоилась популярности, какой не знала ни одна западная кинозвезда.

Ничего подобного не было после ее решения вернуться в СССР. Даже "Нью-Йорк Таймс", которая не обходит молчанием куда менее значимые события, на этот раз предпочла воздержаться от комментариев и отделалась несколькими маловразумительными сообщениями. Да еще парой коротких информации о судьбе ее четырнадцатилетней дочери.

Незадолго до Аллилуевой после полугодового пребывания в Англии вернулся в СССР журналист "Литературки" Битов. Вслед за дочерью Сталина в Москве появилось несколько солдат, дезертировавших из Афганистана. Но этому западная печать уделила еще меньше внимания.

И вот, словно бы желая восполнить молчание, газета "Новое Русское Слово" поместила развернутую статью Я.Костина "Возвращение Большого брата".* Судя по содержанию статьи, посвященной проискам советского КГБ, ее правильнее было бы назвать по другому, ну, например, "Операция "Обратная волна".

Насколько я знаю, статья эта вызвала одобрение у многих читателей газеты, я даже подозреваю, у большинства эмиграции. И потому давайте хотя бы кратко вспомним ее содержание.

Итак, что же представляет собой операция "Обратная волна"? По мнению автора, желая противостоять кризису, охватившему все области советской жизни, советский партийный аппарат выработал новый проект — "Дитя 1984 года" — как его называет Я.Костин: страну необходимо вернуть к жесткой системе сталинских времен. Начало новой эпохи решено провозгласить весной 1985 года, когда страна будет отмечать сорокалетие победы над фашистской Германией. Центральной фигурой этой грандиозной политико-пропагандистской феерии будет Сталин. Для того чтобы успешно прошел спектакль, нужны достойные доверия свидетели, что Сталин, действительно, был благодетелем народа. Главным таким свидетелем и предстоит стать дочери Сталина Светлане Аллилуевой.

Но таких свидетелей, способных пропеть хвалу режиму и обрушиться с проклятиями на Запад, нужно много. Поэтому в дело пошли и мелкие сошки, такие, как журналист Битов и солдатики-дезертиры из Афганистана. Для осуществления процесса сталинизации КГБ попытается втащить в страну и еще нескольких, наиболее известных на Западе, беженцев и эмигрантов. При этом советская госбезопасность уже имеет кое-кого на примете. Например, "известный режиссер, подчеркнуто именующий себя не политическим эмигрантом, а изгнанником, в интервью американской газете толкует, что в России театр — хлеб насущный, что там в театр идут искать истину, а тут, на Западе в театре истину не ищут, и потому режиссеру здесь неуютно. Не мостит ли себе этот изгнанник дорогу в определенном направлении?" — восклицает автор.

*

Новое Русское Слово , 23 декабря 1984.

Другой кандидат на то, чтобы оказаться в лапах КГБ — "в прошлом ученый логик и публицист, издавший на Западе добрую дюжину разоблачительных книг о советском режиме". В русских газетах появилась его статья, в которой он среди прочего пишет: "У меня есть твердое намерение не возвращаться, хотя у меня есть страстное, мучительное желание вернуться... Мы впитали в себя самые светлые идеалы революции... Покинув Родину физически, мы душой остались там... Для нас нет места тут на Западе..."

Я.Костин считает своим долгом "выразить публичное беспокойство по поводу действий, которые наверняка принесут печальные последствия и возвращенцам, и нам, остающимся на Западе".

Можно ли, пишет он, оставаться равнодушными к новой попытке сталинизации России? Вправе ли мы отмахиваться от кагебешной акции, поднимающей на наших глазах обратную волну? "Впрочем, если говорить откровенно, я не сомневаюсь, что сталинизация неизбежна, — заключает Я.Костин и продолжает— У кремлевцев попросту нет иной возможности править страной, если не признать Большого брата. Сталинизм — наиболее естественная, наиболее удобная форма правления при так называемом социализме. Так что помешать проекту 1984 года нам, пребывающим вне системы, едва ли возможно, но возможно не участвовать в этом проекте, уберечь себя и своих близких от дешевых соблазнов Лубянки. Ибо сказано свыше: "Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят" (Лука, 17,1).

"ПУБЛИЧНОЕ БЕСПОКОЙСТВО" И ПРАВДА ФАКТОВ

Изложив содержание статьи, я хочу отдать должное темпераменту автора. Можно понять волнение человека, вырвавшегося из тюрьмы и обреченного судьбой наблюдать, как такие же, как он, вчерашние узники, возвращаются в тюрьму обратно. Но одно дело темперамент, другое дело трезвый анализ событий, правда реальных фактов, которая не может прино-

ситься в жертву никакому "публичному беспокойству". Ведь наряду с предоставленной нам свободой писать и мыслить, на нас еще возложена и святая обязанность следовать в своих писаниях истине, независимо от того, приятна она или нет, согласуется или противоречит нашим привычным представлениям. Так вот, под углом зрения этой правды фактов я бы хотел рассмотреть статью Я.Костина "Возвращение Большого брата". О чем прежде всего идет речь в статье? Что является ее фактическим фундаментом, на котором основываются рассуждения и выводы автора? На этот вопрос дается однозначный ответ: в СССР намечается реставрация сталинского режима. При этом автор не только рисует "картину грандиозной политико-пропагандистской феерии", в центре которой будет Сталин, но и называет точную дату, когда советские правители намерены провозгласить возвращение к сталинизму.

Но поскольку автор не ссылается ни на какие источники и доказательства, то, похоже, что перед нами очередная гипотеза, на отсутствие которых трудно пожаловаться в эмиграции. И более всего они о том, как и когда произойдет возвращение к Сталину. Вот и сейчас ответ дается с точностью до одного дня — 9 мая 1985 года. Но почему же это не сделали раньше? Неужто для советских правителей так важен формальный повод? А если важен повод, то почему им не стало девяностолетие со дня рождения Сталина? Или, скажем, не сорок, а тридцать лет со дня победы над фашизмом? Чем сорокалетие лучше тридцатилетия? Или, может быть, не было фигуры, достойной выполнять роль великого кормчего, и только теперь она появилась в лице такой сильной личности, как Константин Устинович Черненко.* У меня нет ответов на эти вопросы, как думаю, нет их и у автора статьи "Возвращение Большого брата", который выдвинул перед нами столь же волнующую, сколь и бездоказательную гипотезу.

ИДЕТ ЛИ РОССИЯ К СТАЛИНУ?

Вообще, это очень занятный феномен эмигрантской печати: сколько я себя помню в эмиграции, столько я читаю в наших газетах и журналах о возврате России к сталинизму. В

течение многих лет к нему шел Брежнев, а сменивший его Андропов, как глава КГБ, был почти уже вторым Сталиным. Вроде бы дряхлый, со всеми чертами синильности, Черненко не совсем подходит на эту роль? Но кого-то Я.Костин имел в виду. Или, может быть, его возможных преемников — Романова? Или Горбачева? Или, скажем, набравшего на старости лет силу Громыко?

Неужто наша фантазия, касающаяся будущего России, не способна вырваться из оков этого набившего оскомину стереотипа — идет сегодняшняя Россия к сталинизму и все тут! И ищем на каждом шагу подтверждений этих наших построенных на песке прогнозов.

А ведь стоит вдуматься в суть вещей, чтобы понять объективную невозможность возврата к сталинизму, по крайней мере в той форме, в какой он существовал. И не потому, что этого не хотят современные правители. Напротив, я допускаю, что они тоскуют по Сталину. Только их тоска и тайные желания ровным счетом ничего не значат. Ведь сталинизм был не просто определенной формой правления в СССР. Это была законченная и по-своему гармоничная система, где все соответствовало всему. Новому поколению это трудно понять. Для него сталинизм — это лишь "Архипелаг ГУЛаг", но ведь сталинским тюрьмам и методам правления сопутствовали идеализм и романтика тех времен: люди, действительно, шли на смерть со словами "Родина" и "Сталин" на устах. Но о какой вере и романтике можно говорить в разложившемся советском обществе?

Однако если все эти ритуалы и феерии, посвященные возрождению Сталина, — лишь плод фантазии автора, то операция "Обратная волна" повисает в воздухе. К тому же меня одолевает сомнение, что КГБ при всем его могуществе хоть как-то повлияло на решение Аллилуевой вернуться в СССР. И это еще один стереотип нашего эмигрантского сознания: где бы и что бы в мире ни происходило, — везде искать руку КГБ. Кирилл Хенкин в своей книге "Русские пришли" утверждает, что не было никакой третьей эмиграции, а была лишь

*Если он, конечно, выживет и удержится у власти до выхода этого номера.

глубоко продуманная акция советской госбезопасности по засылке своих агентов. А по Костину — нет и не может быть никакой реэмиграции, а есть — опять же блестяще спланированная полицейская акция. Там действовал один отдел КГБ, а здесь другой, при общей координации со стороны высшего руководства.

САМАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

Есть, впрочем, в статье "Возвращение Большого брата" одна бесспорная вещь: советский режим не преминет воспользоваться тем, что указанные лица вернулись в Россию. Я почти не сомневаюсь, что их потащут к телевизору и заставят говорить о растленном Западе и преступных методах Си-ай-эй. Вполне возможно, АПН выпустит книгу Аллилуевой о том, как ей тяжело приходилось на Западе. И будет все это иметь куда более зловещий смысл, чем представлено в статье "Возвращение Большого брата".

Что значит возвращение в СССР дочери Сталина, чей побег имел глубокий символический смысл? Что значит возвращение солдат-дезертиров, которые пошли на это под угрозой смертной казни? Что значит стремление вернуться других эмигрантов — и знаменитых, которых упоминает Я.Костин, — и рядовых, имен которых мы вообще не знаем? Давайте смотреть правде в глаза. Факты эти означают, что советские власти могут отпраздновать победу в области, где им пришлось пережить особенно много поражений и неудач.

Мы знаем, что у московских идеологов нет более излюбленной темы, чем преимущества социалистической системы перед буржуазной. Но чего стоит первое в мире социалистическое государство, если люди не хотят в нем жить? Триста тысяч его граждан открыто покинуло страну. Хорошо, это были евреи, чужаки. Но ведь что ни день, то уходят и русские: актеры, спортсмены, ученые, писатели, шахматисты, дипломаты, парработники. Каждый, перед кем открывается малейшая возможность бежать, — бежит: вплавь, по воздуху, через

горные перевалы и пустыни... Об этом молчат газеты. Но советские правители не могут не чувствовать этих потерь в самой чувствительной для них области — их подданные не хотят быть больше их подданными. И вот впервые стрелка этого приносившего им лишь горечь барометра дрогнула в благоприятном для них направлении. Вернулась дочь Сталина, которая из всех перебежчиков нанесла им самую горькую обиду. Приехала без всякого нажима. Вернулись добровольно и солдаты-дезертиры. Все сказанное ими на пресс-конференциях на Западе теперь равным счетом ничего не значит, ибо какая бы ни была война в Афганистане, без Родины-России они жить не могут. Словом, никакая там ни операция "Обратная волна", а невозможность для советского человека жить вдали от своей социалистической родины — вот, о чем как бы получили право говорить советские правители. Впрочем, вернулись только единицы. А что, если "Обратная волна" из газетного стереотипа превратится в реальный факт жизни? Пойдут ли на это Советы? И не закроют ли в этом случае ворота для эмиграции? И связаны ли эти два потока между собой — эмиграция и возвращение назад? Не думаю, что даже приблизительно можно ответить на эти вопросы, абстрагируясь от возможных направлений развития СССР.

БУДУЩЕЕ РОССИИ

Прогнозы — всегда вещь достаточно рискованная. Особенно трудно прогнозировать будущее советского режима. Может быть, потому что у политического развития сегодняшней России слишком много неизвестных слагаемых. И тем не менее, большинство прогнозов в эмигрантской печати отличается абсолютная безапелляционность. Авторы высказывают не просто то или иное суждение, но истину в последней инстанции.

К слову скажу, что и наш журнал тут не был исключением. Лет эдак пять назад наши авторы Соловьев и Клепикова, говоря о будущих вождях России, пророчили, что Брежнев на его посту сменит Романов. Другой наш автор уже совсем недавно заявил, что в стране будет установлена военная дик-

татура, возглавляемая маршалом Огарковым. Согласно большинству прогнозов, над Россией нависла тень Сталина (о чем уже шла у нас речь), и если не Сталина, то по крайней мере русских шовинистов, которые уже сколько лет рвутся к власти.

Наши авторы уверены, что в гуще русского народа растет ненависть к режиму и стремление к демократии. По-моему, они явно принимают желаемое за действительное и потому исходят из предпосылки: чем хуже, тем лучше. То есть дело надо понимать так, что наступит-таки момент, когда народ не выдержит и свергнет ненавистную систему. А наступит он тем быстрее, чем жестче будет режим и чем ближе он будет к сталинскому. И приписываются ему еще большие ужасы, чтобы оправдать изобретенные концепции.

"Операция обратная волна" лишь один из подобных примеров, число которых можно умножить. Оторванность от реальной жизни России — вот что отличает многих наших социологов. И не отсюда ли нежелание западных политиков прислушиваться к их голосам?

В этом эссе я не берусь выдвигать никаких прогнозов и то, о чем пойдет речь, можно определить лишь как один из вариантов развития страны. Я хотел бы специально подчеркнуть: один из возможных. И если я не предвижу ужесточения режима и прихода к власти "русской правой", то это не значит, что истина только за мной, и невозможно поправление режима, например, автократия или та же военная диктатура. К тому же в главном я согласен со скептиками: в России еще долго не будет свободы, как ни печально это сознавать. Ни свободы, ни нового Сталина. Признаться, мой вариант довольно противоречив — но отражает он противоречия самой России. Итак, никакой либерализации, по крайней мере, в обозримый период. О будущем — разговор ниже. Но, с другой стороны, я допускаю, что СССР может претерпеть такие изменения, которые по своему значению оставят далеко позади даже самые дерзкие диссидентские мечтания. Я говорю о России, где неизменным сохранится коммунистический режим со всеми его атрибутами, за исключением одного, быть может, самого фундаментального.

Я не случайно начал свое эссе с так называемой "обратной волны". Для меня это не вопрос гуманности режима или его изощренности, а нечто более важное. На наших глазах он распахнул ворота для эмиграции. Теперь дана возможность нескольким беглецам вернуться обратно. Возможно, этим все кончится. Возможно. Но я не думаю, что это будет так, а предвижу время (только не требуйте от меня сроков), когда обычным явлением станет выезд граждан из СССР и возвращение их обратно.

На этот счет существует много пессимистов. В основном это те, кто предвидит возрождение сталинизма или его модификаций. Но попробуем, однако, разобраться. Как и мои оппоненты, я буду опираться на прошлое. Но в отличие от них (утверждающих, что Россия идет назад к Сталину), попробую доказать обратное.

Сталинизм — прежде всего система замкнутая: одно желание покинуть страну рассматривалось в те времена как тягчайшее преступление. И в этом смысле мало что изменилось в либеральные времена Хрущева. Разрешалось как угодно осуждать Сталина и его режим, но невозможно было и помышлять об отъезде со своей социалистической родины.

Самое парадоксальное в том, что эмиграция началась в эпоху брежневского термидора и достигла пика в самое мрачное время расправы с диссидентами. В год, когда состоялся процесс Якира — Красина, страну покинули десятки тысяч человек. Именно в это время, означавшее конец либерализации, провозглашенной на XX съезде, в СССР создалась ситуация, о которой невозможно было мечтать даже при Хрущеве. В принципе любой борец против режима, не желавший жить в стране, мог покинуть ее пределы. Подобное самоизгнание — ужасная вещь. Но все-таки это не сталинские лагеря смерти. Именно в эти годы советские евреи получили право эмигрировать в Израиль. Около двухсот тысяч* советских граждан воспользовались этим правом.

Посмотрим, однако, как складывалась эта ситуация, ставшая началом конца замкнутой системы сталинизма. Все начиналось как бы исподволь, случайно, казалось, даже вопреки

* Здесь я имею в виду только тех, кто уехал в Израиль.

воле верхов. Горстка московских евреев, большей частью интеллигенты, вскоре после Шестидневной войны заявили, что они ощущают себя частью своего народа и потребовали отпустить их в Израиль. И власти неожиданно дали им разрешение — казалось, только для того, чтоб не поднимать излишнего шума. Вскоре право на выезд потребовала еще одна группа. И еще. Еврейская алия возникала как будто бы по чьему-то недосмотру. Но число выезжающих со дня на день росло. Никто из советских руководителей не говорил ни о гуманности, ни о праве евреев жить со своим народом. Газеты и не вспомнили Всеобщую Декларацию прав человека, предусматривающую возможность эмиграции. Они призывали дать решительный отпор сионистской пропаганде и клеймили отщепенцев, попавшихся на ее удочку. И под аккомпанемент этой партийной трескотни десяткам и сотням тысяч людей выдавались визы на выезд из страны. Ниже я буду еще говорить о том, что побуждало режим к этой "гуманности". А пока заметим, что визы получали диссиденты, сектанты-пятидесятники, адвентисты седьмого дня, да просто многие русские люди, изводившие власти своими требованиями о выезде.

Но речь не только об эмиграции. На наших глазах брежневская Россия становилась совершенно иной. Ряд советских деятелей культуры получили право жить за границей. Советские фильмы демонстрируются в Нью-Йорке, а американские телевизионщики свободно разъезжают по Советскому Союзу. Ежедневно регистрируются сотни телефонных звонков между советскими гражданами и их родственниками в Америке. Ученые из СССР бывают практически во всех странах мира. Великий кормчий перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что натворили его наследники, позволившие гражданам СССР свободно колесить по миру, не теряя советского гражданства и не становясь "врагами народа".

Я привожу лишь немногие пришедшие на ум примеры и знаю, что можно привести множество других, обратных, когда "не дают", "тормозят", "не пускают". Но и они не могут изменить общей картины и тенденции, смысл которой в одном: СССР становится все более открытой страной.

Я знаю, что в это трудно поверить. Мы слишком много внимания придаем тому, о чем говорят советские правители. А поскольку они говорят об одном и том же, режим в СССР предстает как застойное болото. И выпадает из нашего поля зрения главное — эрозия, которая разъедает его изнутри и говорит о том, что вопреки заклинаниям правителей он не способен противостоять давлению времени. Запрудить эти подземные воды и приостановить эту разъедающую эрозию — значит, повернуть весь ход вещей назад, а это невозможно, какая бы тоска по Сталину ни одолевала правителей и какие бы пропагандно-политические феерии ни устраивались, чтобы эксгумировать его труп.

Конвергенция, о которой в свое время говорил Сахаров, представляется неизбежной, хотя бы в том смысле, что страны не могут намертво закрыть свои границы. Любые страны, в том числе и социалистические, если они не хотят выпасть из цепи мирового развития.

Конечно, правители СССР боятся как огня перемен, но опыт окружающего мира значит что-то и для них. Приоткрыли свои границы Югославия и Венгрия. Во многом меняется коммунистический Китай. Меняется — и никакого светопредставления не происходит, разве лишь во много крат ускоряется его техническое развитие.

Откроет ли СССР ворота для новой эмиграции? Даст ли своим бывшим гражданам возможность возвращаться назад? На это я могу ответить лишь так: шансов и предпосылок для этого сейчас больше, чем в 70-е годы, когда подобный шаг был равносителен прыжку в холодную воду.

Теперь у советских правителей появилась уверенность, что открой они ворота — не уедет пол-России, чего они так опасались, зная цену своему режиму. Ни пол-России, ни четверть, ни вообще русские люди не поедут, коли плод перестанет быть запретным, а если кто-то и рискнет, то, скорее всего, запросится назад, как запросились солдаты-дезертиры.

Тут не место и время рассуждать, почему русскому человеку Россия дороже, чем свобода. Но эту истину уразумели советские правители и потому, наверное, у них нет уже разъ-

едающего страха открыть ворота перед гражданами своей страны.

Впрочем, евреи, может быть, и уедут. Но опять же не все. А из тех, кто уедет, некоторые опять же, возможно, поедут назад.

Я допускаю возможность, дорогой читатель, что придет время, когда мы с вами сможем, собрав чемоданы, поехать в Россию и, пожив там, вернуться обратно.* Так же, как наши друзья смогут приехать сюда и, погостив, вернуться в СССР. "Ну уж это, извините, слишком!" — воскликнет читатель. Я прочитал это место своей старинной челябинской знакомой. Когда-то в стародавние времена мы сидели в челябинском кафе "Ландыш" и рассуждали о будущем.

— Ты веришь в то, о чем я написал? — спросил я её, прочтя этот абзац.

— Да, — ответила она, — только не при жизни нашего поколения.

— А ты верила в 68-м году, когда мы сидели в Челябинской забегаловке "Ландыш", что мы окажемся в Нью-Йорке, в Манхэттене и будем рассуждать о возможности побывать в России?

ОТКРОЮТ ЛИ ГРАНИЦЫ СОВЕТЫ?

Какие же стимулы будут толкать власти к этим переменам? Эрозия, о которой мы говорим, — это ведь скорее следствие, чем причины всего происходящего. Чтобы ответить на наш вопрос, следует понять, что со сталинских времен советская система трансформируется прежде всего в одном направлении: идеология все больше сдает позиции прагматизму. Почему власти пошли на массовую эмиграцию евреев? Не из гуманных же, в конце концов, соображений и не из уважения к правам человека. Нет, они руководствовались реальными выгодами, которые мог получить СССР на международной арене. Введя выкуп за образование, они фактически рассчитывали еще на одну внушительную статью дохода во внешней торговле. Когда-то в своей статье "Размышления перед аукционом", опубликованной в "Нью-Йорк Таймс", я с цифрами в

* Для меня лично, по понятным причинам, это вряд ли возможно, но меня это не так уж и огорчает.

руках показал, что от торговли живым товаром Советы рассчитывают получить столько же, сколько они получают от продажи ценнейших полезных ископаемых.

Эта акция, как мы знаем, потерпела неудачу. Но остался прагматический подход к решению политических проблем. За каждую уступку в эмиграционной политике власти всегда что-то требовали — и чаще всего что-то получали. Согласно поправке Джексона—Ванника взамен на разрешение массовой эмиграции Советам был предоставлен Америкой статус наибольшего благоприятствования в торговле.

В погоне за конкретными выгодами правительство СССР не замечало, как оно все больше открывало свои границы. И если в последние годы эмиграция переживает резкий спад, то я склонен это объяснять не столько идеологическими соображениями Москвы, сколько кризисом, создавшимся на этом участке торговли. Похоже, США — по многим соображениям — не предлагают Советам ничего внушительного за продление эмиграции. И холодная война, как мы все понимаем, — не лучший для этого климат.

Но я не думаю, что изменилась природа режима. Или, скажем, так — что набирающие силу прагматики откажутся от своего подхода к решению многих политических проблем.

Если исчезнет страх перед свободой передвижения граждан, — а как мы показали, для него у режима все меньше оснований, — то найдется множество уже конкретных прагматических факторов, которые будут толкать власти на открытие границ.

Из неофициальных источников известно, что когда Москва обсуждала возможность пустить обратно какое-то число советских эмигрантов из Америки, то первый вопрос, который был поднят, — а сколько валюты эти люди способны уплатить властям. Платить должны были под благовидным предлогом взноса за кооперативные квартиры. Но предлагаемые суммы, по одним сведениям, десять тысяч долларов, по другим — двадцать, говорили сами за себя. Можно вполне допустить, что, подобно тому, как режим хотел заработать сотни миллионов долларов на эмиграции, точно так же он

может пойти на то, чтобы сделать реэмиграцию серьезным источником дохода.

А возьмите "утечку мозгов". Мы знаем, что польские власти пытались и, возможно, еще будут пытаться вернуть еврейскую интеллигенцию, изгнанную Гомулкой. Ущерб, нанесенный этой акцией Польше, неисчислим.

Не исключено, что и советский режим задумывается над тем, как вернуть обратно талантливейших математиков, физиков, электронщиков — да по существу ученых всех областей, которых они потеряли в ходе эмиграции.

Свободу передвижения они могут поставить на службу и чисто политическим целям. Нет, я не говорю о росте престижа СССР, откуда режим захочет опять же извлечь разного рода выгоды. Мосты между Западом и Востоком он захочет использовать во многих направлениях, и увя, КГБ получит здесь новое поле деятельности.

Я не думаю, что все это послужит на пользу Западу, и тем не менее, какие бы опасности и ловушки его здесь ни подстерегали, если мы хотим отстаивать принципы демократии и стремимся, чтобы режим в СССР действительно изменился, мы не можем не поддерживать идею открытия советских границ. И с этой точки зрения возможность обратной волны не должна нас пугать — а напротив, внушать надежды и оптимизм.

Выше я сказал, что не жду от Советов никакой либерализации, даже если они и откроют границы. В принципе это верно. Но если мы говорим о подземных водах, разъедающих СССР, то ведь действие их во сто крат усилится, если он в конце концов откроет границы. И, может быть, это и станет его дорогой к свободе — извилистой, долгой, противоречивой, но все же ведущей страну в нужном направлении. Впрочем, это уже тема другого эссе, которое я еще надеюсь написать.



Елена ГЕССЕН

КТО БОИТСЯ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ?

О Людмиле Петрушевской — драматурге и прозаике — заговорили в Москве году примерно в 1976-77. Как часто бывает, слухи и кулуарная слава намного опережали публикации и официальное признание: пьес Петрушевской тогда еще почти никто не видел и мало кто читал ее прозу. Потом кое-что начало проникать — медленно, со скрипом — на клубные и полупрофессиональные сцены. Наконец, в 1981-82 гг. сразу в двух театрах Москвы поставили ее пьесу "Любовь" — в театре Ермоловой и на Таганке, в спектакле "Надежды маленький оркестрик", состоящем из трех одноактных пьес разных авторов. Сегодня, по словам критика Игоря Шагина, "редкая театральная дискуссия обходится без упоминаний произведений Петрушевской", ее имя называется — даже в газете "Правда" — в первой десятке имен "молодых драматургов новой волны" (молодые, как известно, это те, кому около и за сорок), но число публикаций все еще остается мизерным, а "театральных постановок у нее немного". Объяснение критика: "режис-

серы ищут ключ к ее пьесам" справедливо лишь отчасти: дело, скорее всего, не только в сложностях поисков оптимального режиссерского решения, но в трудностях другого рода. Материал драматургии Петрушевской чрезвычайно трудно втиснуть в прокрустово ложе советского театра, даже с учетом всех завоеванных лазеек и боковых тропок. Необмятый, непригнанный, непризнанный, он упрямо противится всяческим приглаживаниям и приминаниям. Наверное, нечто схожее происходило когда-то с драматургией Вампилова, получившей настоящее признание лишь после гибели писателя.

Петрушевская, по всем данным, — а судить о ее творчестве можно лишь по нескольким напечатанным пьесам и рассказам, так что разговор может идти только самый предварительный и ни на какие выводы не претендующий, — так вот, по всем имеющимся данным, Петрушевская явно ученица Вампилова. Хотя, впрочем, и сама уже не подмастерье давно, а мастер. Их сближает беспощадно-острый глаз, абсолютный слух, на редкость точно фиксирующий и воспроизводящий всю гамму сегодняшнего советского языка. Схожи и герои: большинство персонажей Петрушевской — все те же вампиловские "алики" с их поразительным общественным индифферентизмом, полным равнодушием к окружающим и к самим себе, с какой-то даже принципиальной исключенностью из бурной советской жизни. Есть и различие — впрочем, очень существенное: у Вампилова герои все же вписаны в определенные и точно установленные социальные рамки, у Петрушевской поле действия — быт, семья, внутрисемейные отношения. Она почти никогда не выводит своих героев за эти пределы: как замечает тот же Игорь Шагин, "конфликты ее пьес носят... бытовой характер", сюжеты и характеры своих драм "она ищет в повседневной жизни, в сцеплении рядовых событий", Советский быт, впрочем, названный одним из его лучших знатоков и изобразителей Юрием Трифоновым "войной, не знающей перемирий", дает материал для драм едва ли не шекспировского масштаба.

И хотя Игорь Шагин утверждает, что "редкая театральная дискуссия обходится без упоминания произведений Петру-

шевской", в регулярно проводимых дискуссиях на тему "каким быть молодому герою нашей драматургии?" Людмила Петрушевская не участвует. Очень даже может быть, что ее и не приглашают на подобные обсуждения. Ничего удивительного в этом нет: персонаж, который можно было бы обозначить как "молодой" либо "положительный герой", в ее пьесах начисто отсутствует, а мир, воссоздаваемый в них, как небо от земли, далек от того картинно-синтетического мира, который — независимо от одаренности авторов — возникает в девяноста процентах советской театральной продукции. Правда, в последние годы советская драматургия освоила некоторые темы, раньше считавшиеся "табу": появились пьесы о женском одиночестве, об отчужденности, о юношеской преступности. Кое-где даже можно обнаружить недвусмысленные намеки на то, что советским гражданам не всегда удастся купить в магазине нужные продукты. Все это, однако, не выходит за пределы критики "отдельных недостатков и временных трудностей". К театру Петрушевской это никакого отношения не имеет: ее герои живут не в выдуманном, но в подлинном мире, со всеми его проблемами и сложностями.

Весной 1980 года, за несколько месяцев до отъезда, мне удалось посмотреть одну пьесу Петрушевской. Шла она в Московском областном драматическом театре и в официальный репертуар включена, по-видимому, не была, во всяком случае, в афишах не значилась и о просмотрах — по пятницам, в пять, — знали лишь посвященные. Начался этот театр не с вешалки, но с поисков: никакой вывески под данным нам номером дома на улице 25 Октября не было. Так мы и стояли в растерянности, пока кто-то из прохожих не ткнул пальцем в глубину двора: там, за грязноватой подворотней, за нагромождением ящиков со сданными бутылками и воняющей следкой бочкотарой и обнаружилось "базовое помещение" театра. Впрочем, и тут ничего похожего на театр не было: в большой комнате стояли рядами стулья, а пустое пространство в глубине имитировало сцену. Потом на этом пространстве появились две женщины, одна — лет 45-ти, вторая — совсем молоденькая. Как они играли? Вопрос этот по отношению

к тому, что творилось "на сцене", выглядел бы совершенно неуместным, при том, что там, собственно, ничего и не творилось: сначала шел длинный, иногда даже монотонный монолог старшей — о ее жизни, о муже, чужом и малоприятном человеке, о погибших детях. Дети эти, возникая без конца в ее монологе, всякий раз погибали по-разному: то, едва родившись, от недосмотра фельдшерицы, то — уже постарше, от дизентерии в детском доме в голодный военный год, то еще как-то... Начиная казаться, что женщина вроде как и не совсем в своем уме. Потом выяснялось, что девушку она принимает за очередную пассию своего мужа, но это ее абсолютно не трогало, такое уже бывало, приводил всяких, жили тут по месяцу, по два, потом отчаливали, а она — оставалась. Наконец, в разговор вступала девушка, которой до сих пор все не удавалось прервать монолог партнерши, и начиналась новая история, пожалуй, страшнее первой. Девушке негде жить, родной брат выставил ее из дома, объявив сумасшедшей. Всякий раз, когда она появляется дома, он вызывает психиатрическую перевозку. К мужу женщины она пришла в надежде, что он чем-нибудь поможет: когда-то он работал с ее отцом...

Пьеса называлась "Стакан воды" — как знаменитый водевиль французского драматурга Эжена Скриба, шедший когда-то в Малом театре. У Скриба стакан с водой играл важную роль в придворных интригах, у Петрушевской он стал символом страшного одичества ее героинь: как говорит старшая, когда она будет умирать, некому будет швырнуть ей стакан воды.

Весь спектакль продолжался меньше часа, но концентрация жестокости и беспросветности достигала такой точки, что, выйдя из мрачного двора на улицу, мы поразились солнечному свету, теплу, безопасности толпы (хотя толпу на подступах к ГУМу вряд ли можно назвать безопасной).

Таковы все пьесы Петрушевской: они производят впечатление обнаженной, беспощадной правды. Даже если жизнь, показанная на сцене, далека от жизни средне-статистического зрителя (как в "Стакане воды"), убедительность драматургического языка такова, что не верить — невозможно.

Маститый драматург Алексей Арбузов, предваряя публикацию пьесы "Любовь" в журнале "Театр", пишет об умении Петрушевской выстраивать "привлекательные ситуации". Речь, очевидно, идет о привлекательности чисто эстетического свойства — в обычном, житейском смысле этого слова выстраиваемые ею ситуации привлекательными никак не назовешь. Ее творческий метод напоминает иногда детскую игрушку калейдоскоп: разноцветные стекляшки складываются в определенный узор, но стоит встряхнуть трубочку и от узора нет и следа, перед нами новые фигуры, новые сочетания, новые цвета. Вот так же "встряхивает" своих героев Петрушевская, обнаруживая в них новые грани, новые свойства, поворачивая их к зрителю-читателю то так, то этак. В этом, впрочем, нет ничего от нарочитости игры, "встряхивание" производится вроде бы самой жизнью. И лучше всего об этом творческом методе сказала сама Петрушевская в рассказе "Смотровая площадка": "О господи, зачем этот мир так устроен, что ничего в нем нет от литературы, от одного прочтения, одной точки зрения, а все может быть прочтено еще глубже и еще большие могут разверзнуться пучины..."

В пьесе "Три девушки в голубом" между героинями — троюродными сестрами — идет распря из-за дачи, сомнительного наследства от бабки, доживающей свой век в инвалидном доме. Две сестры выступают единым фронтом против третьей, которая, казалось бы, во всем им противоположна: Светлана и Татьяна — вопиюще неинтеллигентные, цепкие, жадные хапуги; Ира — мягкая, беззащитная, жертва, не умеющая противостоять хищническому напору. "Закон джунглей", — лаконично резюмирует правила отношений, а также, вероятно, свое понимание миропорядка муж Татьяны Валера.

Но — трубочка встряхивается, и гордячка Ира очертя голову бросается в роман с солидным госплановским чиновником Николаеам Ивановичем, человеком ей совершенно чуждым и вчера еще малосимпатичным. Невозможность хотя бы минимального взаимопонимания между ними фиксируется первоначально даже не на семантическом, но на лексико-фонетическом уровне: Николай Иванович говорит "консэрвы,

языки, плэд", "в данный конкретный момент", "я вас держу в поле зрения". Реплики героев идут параллельно, не складываясь в диалог:

Ира. Я преподаю газельский язык. Сто двадцать рублей. Почасовик.

Николай Иванович. Молодец! Дуй до горы, а в гору поможем.

Ира. Еще знаю менский.

Николай Иванович. Я не в курсе, но поможем, поглядим вокруг. Если есть такие языки (делает ударение на "ы"), то будут и возможности.

Ира. Еще валлийский. Да и корноэльский.

Николай Иванович. И такой еще молодой специалист!

Ира. Но корноэльский язык почти мертвый.

Николай Иванович. Ничего, примем меры...

И после таких разговоров происходит стремительное и безудержное сближение героев, так что Ира, бросив больного сынишку на попечение хворой матери, тайком улетает с любовником на несколько дней в Коктебель. А мать меж тем — то ли из чувства мести, то ли и в самом деле почувствовав себя хуже, — уходит в больницу, и пятилетний мальчик остается один в пустой квартире. В этой перемене ситуации — не просто нравственный перевертыш калейдоскопного типа и не один только отчаянный прорыв к мимолетному женскому счастью. Для Иры в этом странном романе важна прежде всего возможность хотя бы на несколько дней вырваться из униительно-тяжкой действительности, в которой за дачу приходится платить вдвое больше месячной зарплаты ("Как ты с таких денег наберешь?" — спрашивает хозяйка дачи. "Сама удивляюсь", — отвечает Ира), в которой так трудно одной растить ребенка ("не знаешь, как на ноги поставить, и молишься, и молишься, лишь бы дожить"), в которой непонятно, "как жить, когда совершенно одна на свете, никому не нужна".

Человек практичный, солидный, обоими ногами стоящий на земле, Николай Иванович добивается расположения Иры не цветами и не романтическим ухаживанием — он строит ей на дачном участке личный сортир. Путь к сердцу советской женщины лежит через деревянную будку с выгребной ямой — деталь, совершенно в духе театра Петрушевской. И так же безжалостно разоблачается пошловатая иллюзорность чувст-

ва Николая Ивановича: на юг он летит, чтобы побыть там со своей семьей, а поскольку проживание в одной комнате с дочкой-подростком не способствует нормальным супружеским отношениям, он просит у Иры ключ от ее комнатухи — на часок...

А вот "перевертыш" другого рода — в той же пьесе медсестра Светлана, только что с совершенно животным эгоизмом отстаивающая свои права, на глазах у нас преобразается, стоит Ире попросить ее осмотреть больного Павлика. Неведомо откуда появляется в ней человечность, деловитость, профессиональная уверенность в себе. И все это вновь рушится через несколько минут под очередным ударом дачного быта. Но и этих мгновений достаточно, чтобы понять авторскую мысль: люди, которых она изображает, безнравственны не сами по себе, не потому, что такими они родились. Их сделала такими жизнь в пространстве, "где ни света, ни воздуха нет", как писала Ахматова.

В поисках деформирующего момента, уродующего жизнь ее героев, Петрушевская, так же как и Вампилов, оказывается порой на грани пародии. Пародийно и парадоксально звучит название пьесы "Любовь", пародийны и диалоги героев. Толя и Света, только что вернувшиеся из ЗАГСа, даже не делают вида, что любят друг друга. Толя постоянно твердит: "Вообще не могу любить никого. Совершенно не могу, это не в моих силах".

Этот брак возник не из любви и не из расчета, он родился из "ничего", которое, как заявляет герой, "и есть самое ценное, и оно больше мне нужно, чем что-нибудь, чем любые другие отношения".

Очень многое стоит за этим "ничего" — полнейшая эмоциональная невоспитанность, неразвитость чувств, боязнь одиночества, обостренная душевная ранимость и одновременно — простодушная толстокожесть. Взаимная отчужденность грозит перерасти в ожесточенность, характеризующую отношения едва ли не всех героев пьесы, когда появляется мать Светы с ее твердой уверенностью в своем праве вмешиваться в жизнь молодых. Несмятые простыни на кровати — для нее верное

доказательство фиктивности брака. "Нужен ты нам, — бросает она новоявленному зятю. — Мы и вдвоем прекрасно проживем, хотя обе старые, обе больные, но проживем. Я без мужика в холодной постели тридцать лет сплю, и она поспит. Лучше, чем с тобой. С тобой только трудности одни житейские будут. Иди без оглядки".

Отношения матерей и дочек — у Петрушевской вообще особая большая тема: здесь самым причудливым образом сплетаются ревность и любовь, и чувство неприкрытого собственничества, по временам переходящее в откровенную неприязнь и даже вражду. А внутри клубка — сломанные жизни, характеры, раздавленные и ожесточенные "житейскими трудностями".

Героиня рассказа "Смотровая площадка" Артемиды, "юное, гибкое и свежее существо", однажды, словно бы в подтверждение своего славного имени, весь день проходила с гвоздем в сапоге, и к вечеру нога была вся в крови. "Кровь была потому, что железное острие... сидело в живом мясе, а хромать себе Артемиду не позволяла". Эта вполне реалистическая деталь применима — в качестве метафоры — едва ли не ко всем героям Петрушевской: у каждого — свой гвоздь в сапоге. Что же до того, чтобы не позволять себе хромать, то ведь не всякому это под силу.

И все же — счел ведь Юрий Любимов возможным включить пьесу Петрушевской в спектакль под названием "Надежды маленький оркестрик" и усмотрел же в ней рецензент "Вечерней Москвы" оптимистическое начало — а вернее, оптимистический конец. И может, не так уж все и страшно? И по своей привязанности к благополучным исходам мы прикидываем, что вот и Ира успела вовремя из коктейбельской эскапады, и с мальчиком ничего не случилось, и матери успешно сделали операцию, и Света бежит же вдогонку за Толей, спасая свою — кто знает, может, и вправду, — любовь. Да и Артемиды вытаскивает же в конце концов гвоздь из своего сапога. И вот уже звучит где-то в отдалении "надежды маленький оркестрик под управлением любви", но это просто нам хочется его услышать, а на самом деле — это всего лишь минутная пе-

редышка, затишье перед бурей, и снова со всех сторон тесно обступает и обваливается, и душит быт, и некуда от него деваться.

Зло в пьесах Петрушевской вовсе не метафизично, оно имеет вполне конкретные очертания и названо по имени-отчеству. При всей безнравственности ее героев, при всей их разобщенности и разъединенности есть нечто общее, что их связывает. Это общее: дефицит. Дефицит всего — начиная от апельсинов и кончая улыбкой участия и словами сочувствия. В этих условиях люди, связанные круговой порукой дефицита, просто не могут, не умеют быть другими. Зато и их попытки вырваться из заколдованного круга дефицита — пусть бы и ценой собственной нравственности — неизбежно обречены на неудачу. Скорее всего, именно потому, что в своем преступлении каких-то моральных норм и правил они в общем-то не последовательны и не способны идти до конца.

До конца идут другие герои, отделенные от прочих персонажей Петрушевской как бы глухой стеной и живущие в совершенно другом мире. Это может быть стена полнейшей поглощенности собой, всепобеждающего тщеславия и безоглядного честолюбия (как у Андрея в "Смотровой площадке") или стена привилегий, пайков, дач, заграничных поездок и гонораров (как у Николая Ивановича в "Трех девушках..."). Замечателен по точности стиля разговор Николая Ивановича с Ирой в Коктебеле — после того, как прошло первое вождение и осталась лишь боязнь разоблачения.

Николай Иванович. Ты кончай с этими преследованиями меня тобой.

Ира. Я хожу где хочу.

Николай Иванович. Вам на этом пляже не положено было сидеть. У вас нет пропуска на него. Глаза слишком большие.

Ира. Что, уже на море нет места?

Николай Иванович. Вам именно — нет.

Ира. Но это же не ваша земля?

Николай Иванович. Мы посмотрим, чья это земля.

Стоит ли говорить, что по логике драматургии Петрушевской — как и по логике всего советского бытия, — земля и в самом деле становится принадлежностью "номенклатуры".

Та же мысль четко и выпукло формулируется в рассказе

"Смотровая площадка": Андрей, советский Растиньяк, покоритель московских дам всех возрастов и сословий, больше всего любит приводить своих подруг на смотровую площадку на Ленинских горах, откуда видна вся столица, лежащая, как верный пес, у ног. "Все открыто завоевателю, а он, уже не мародерствуя, может производить погрузку города полными вагонами — и все в себя, все в себя..." Андрей характеризуется как "нормальнейший человек без отклонений". При этом он абсолютно бесчувственен; автор отмечает у него полное "отсутствие душевных движений": единственного он не мог... "поставить жаждающему миру эмоций". Легко и просто, как бы мимоходом губит он все, что попадает на его пути, и "все бури сожительства с Андреем" оказывается способно перенести только алоэ, оставленное на его попечение, да и то потому лишь, что это растение, "жизнестойкое само по себе, то есть вынужденное долго, в нашем случае хоть сто лет, терпеть". Люди же отнюдь не отличаются подобной жизнестойкостью, и бессмысленно утешаться сентенциями типа "трава растет и жизнь неистребима..." Вывод Петрушевской звучит горько и малообнаделяюще: "Истребима, истребима, вот в чем дело..."

Во вступительном слове к первой публикации пьесы Петрушевской в крупном центральном журнале "Театр" Алексей Арбузов проникновенно писал: "Петрушевская только в начале своей дороги. Думая о ней, желаешь одного: уберечь ее талант от непонимания". Это благое пожелание знаменитого драматурга в данном случае звучит несколько двусмысленно. Конечно, можно объявить читателю и зрителю, что главная тема драматургии Петрушевской — борьба с мещанством. Это даже и не будет вовсе уж ложью, но это и не будет одной только правдой. А чиновники из Министерства культуры, управляющие театральной жизнью страны, вряд ли сильно отличаются от Николая Ивановича. И вот какая замечательно абсурдная ситуация получается: с одной стороны, постоянное упоминание имени во всяких органах печати вроде бы означает официальное признание, с другой — где же в таком случае публикации, спектакли, критические статьи? Все это едва-

едва сдвинулось с нулевой отметки. А ведь, как подмечает Игорь Шагин в коротенькой заметке-вступлении к "Трем девушкам в голубом", "именно живая театральная практика, а также публикации пьес помогают нам объективно оценить те или иные явления драматургии, их место в общем литературном процессе". При всей очевидности и тривиальности — это глубоко справедливо.

...Начиная работать над этой статьей, я написала в Москву подруге, ярой театралке, с вопросом, какие новые пьесы Петрушевской поставлены в столице. "Новых пьес, кажется, нет, — ответила она. — В каком-то Доме культуры поставили пьесу "Девочки, к нам пришел ваш мальчик". Говорят, так себе. Главный герой всю дорогу ходит с расстегнутой шириной. Конечно, хорошо бы сходить посмотреть самой, но, как туда попасть, непонятно: билеты не продают и даже не поймешь, с какого боку подбираться..."



Ефим ЭТКИНД

СУМЕРЕЧНЫЙ МИР ДОКТОРА БОМГАРДА

Михаил Булгаков — вместе с Цветаевой — принадлежит к числу тех русских писателей нашего века, которых долгое время не желали знать ни здесь, ни там — ни *intra muros* Советского Союза, ни *extra muros*, — а теперь вырывают друг у друга из рук. Вот уже двадцать лет, как в СССР твердят: он *наш и всегда был нашим*, стремясь предать забвению оценку, которую автор "Белой гвардии" получил в 1927 году в БСЭ, утверждавшей: "Произведения Михаила Булгакова поставили их автора на крайний правый фланг современной русской литературы, делая его художественным выразителем правобуржуазных слоев нашего общества".

Крайне-правый фланг... право-буржуазные круги... Так сказано в наитофициальнейшем партийно-государственном издании. Несколько лет спустя подобная формула была бы смертным приговором; в 1927 году бюрократическая империя еще начала устанавливаться — только что был изгнан Троцкий, только что утвердилось единовластие. БСЭ имела в виду роман "Белая гвардия" и пьесу "Зойкина квартира".

Между тем Булгаков начал с журналистики в берлинском "Накануне" и уже был автором серии рассказов "Записки юного врача", которая печаталась в 1924-1927 годах (главным образом, в 1926, когда вышло семь рассказов из девяти). БСЭ об этом цикле не упоминала — отношения к политике он не имел. Принято считать, что "Записки врача" — произведение начинающего писателя, проба пера недавнего земского лекаря, еще только нащупывающего литературный путь... Вчерашний студент-медик рассказывает случаи из практики: вот он впервые увидел собственными глазами дифтерит, патологическую беременность, сифилитика, девушку, изувеченную мялкой для льна, умирающую от потери крови. В университете его учили — ему читали лекции, демонстрировали типичные случаи; теперь едва оперившемуся юнцу приходится самому принимать решения, от которых зависит жизнь. И каждый раз такое решение — первое.

Принято считать, что эти рассказы лишь одним краем относятся к художественной литературе, что они и в самом деле — "Записки юного врача". Такой их репутации способствует тот факт, что все они, кроме одного, печатались в профессиональном издании для медиков, журнале "Медицинский работник". Все это — недоразумение. С таким же основанием можно рассматривать тургеневские "Записки охотника" как ведомственные сочинения, рассчитанные на собратов по осеннему промыслу, или роман Золя "Деньги" как пособие для начинающих банкиров.

"Записки юного врача" — вполне законченная книга зрелого писателя. Разумеется, она основана на материале автобиографическом, но это не отличает ее от произведений не только Булгакова, но и других писателей мировой литературы. Публикация в журнале "Медицинский работник" объясняется просто: уже в 1926 году напечатать такую прозу было трудно, почти невозможно. Булгаков сделал первый опыт — отдал один из рассказов в "Красную панораму" ("Стальное горло", 15 августа 1925), но более этого не повторял. Все прочее появилось в "Медицинском работнике", причем все рассказы (кроме одного, "Я убил") печатались в двух и даже в трех номерах журнала.

Публикация "сомнительных" произведений в специализированных изданиях — проверенный способ обойти цензуру в СССР. Один из любопытных примеров такого рода — появление стихотворений французских романтиков и парнасцев — Виньи, Мюссе, Леконта де Лиля, Эредиа, Т.Готье — в альманахе "Охотничьи просторы" (№ 1, 1960), Вся подборка (переводы Марка Гордона) составляла раздел альманаха, озаглавленный... "Иностранная охотничья литература". Названные французские поэты, в то время преданные анафеме как буржуазные "чистые эстеты", сторонники "искусства для искусства", здесь, на страницах специального издания, оказались просто анималистами и потому для советского читателя безвредными.

Вероятно, с "медицинскими" рассказами Булгакова произошло нечто подобное.

В СССР "Записки юного врача" были изданы сорок лет спустя в "Библиотечке "Огонек" (1963) и в сборнике "Избранное" (1966, 1980), причем не все. Например, в книге "Избранное" недостает "Звездной сыпы", "Я убил" и "Морфия". Почему? Сказать трудно; может быть, первый из них, говорящий о повальном сифилисе, показался слишком жестоким, рисующим русскую деревню в черном свете; второй — кровавым; третий патологичным. Догадки бессмысленны: понять логику советских редакторов нельзя. Полностью цикл опубликован в первом томе Собрания сочинений М.А. Булгакова под редакцией Э.Проффер в 1982 году в издательстве "Ардис", по этому изданию и будут даваться цитаты.

Расположение рассказов здесь другое, чем последовательность их публикации в "Медицинском работнике". Редакция объясняет: "...мы приняли последовательность рассказов "Записок юного врача" ...в соответствии с их внутренней хронологией, так что они читаются почти, как автобиография, чем они и являются в большой мере". Возможно, что и так. Однако в том порядке, в каком автор печатал свои рассказы, была своя логика, иная, не автобиографическая последовательность, а смена художественных эффектов. Публикуя рассказы в соответствии с реальной временной после-

довательностью, редакция придерживается ф а б у л ы — в твердой уверенности, что таково и намерение автора — он рассказывает все подряд: вот он 17 ноября 1917 года приехал в Мурьевскую больницу и в ту же ночь сделал почти безнадежную операцию ("Полотенце с петухом"), вот он после этой операции прославился и стал принимать по сто пациентов в сутки ("Вьюга"), затем в рассказе "Стальное горло" значится дата — 29 ноября, а в "Тьме египетской" — 17 декабря...

Время движется прямолинейно. Хотел ли этого автор? В "Медицинском работнике" появились сначала "Вьюга" и "Тьма египетская", затем "Звездная сыпь" и уже после этих трех рассказов — "Полотенце с петухом", где читатель возвращается к фабульному началу — приезду молодого доктора в больницу. Можно полагать, что временная инверсия задумана Булгаковым, и что, снимая ее и выпрямляя события, издатель уничтожает сюжет, подменяет его фабулой. (Достаточно представить себе перестановку в хронологическом порядке частей "Героя нашего времени"!.) Если цикл открывается "Полотенцем с петухом", то в центре оказывается рассказчик, начинающий врачебную практику в тихом, глухом Мурьеве. Если вначале "Вьюга", то исходной точкой становится Россия; эпиграфом к рассказу служат пушкинские строки: "То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя...", да и в тексте постоянно звучат отзвуки Пушкина:

— Неужели дорогу потеряли? — у меня похолодела спина.

— Какая тут дорога, — отозвался возница расстроенным голосом, — нам теперь весь белый свет дорога. Пропали ни за грош... Четыре часа едем, а куда... Ведь это что делается..." (77).

В этом разговоре с возницей — отзвуки "Метели", "Капитанской дочки", "Бесов":

— Эй, пошел, ямщик! — Нет мочи,

Коням, барин, тяжело.

Вьюга мне слипает очи,

Все дороги замело.

Хоть убей, следа не видно.

Сбились мы... Что делать нам?..

Вьюга — традиционный образ революционной России — от Пушкина до "Двенадцати" Блока.

Метель, буран, вьюга — устойчивая метафора в романе "Белая гвардия". В самом его начале эпиграф из "Капитанской дочки" подхватывается в описании судьбы Турбиных:

"Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. /.../ На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли..." (Романы, 1973, с.15).

Это будет опубликовано в 1925 году, а год спустя рассказ "Вьюга" продолжит развитие метафоры: в этом смысле особенно важно то, что "Вьюга" — первый рассказ цикла, начало новой книги, следующей после "Белой гвардии".

Булгаков сделал все возможное, чтобы отделить "Записки юного врача" от самого себя: рассказчик — молодой медик, но зовут его Владимир Михайлович Бомгард, день его рождения 17 декабря (а не 3 мая), он холост (в отличие от автора), да и не похож на Булгакова характером; в последних двух рассказах автор еще более отодвинул происходящее от себя: доктор Бомгард цитирует рассказ доктора Яшвина, и он же публикует письмо и дневник, оставленные ему покойным Поляковым. До нас дошли сведения, что и сам Булгаков пристрастился было к морфию — имеет ли этот автобиографический факт отношение к эстетическому замыслу писателя? Жизнь изучаемого автора следует знать в подробностях, но нельзя ставить биографию выше творчества, случайно угаданные жизненные факты — выше намерений художника.

В предисловии к прозе Булгакова К.Симонов настаивает на его принадлежности к "великому целому, которое все вместе взятое называется советской литературой".* За пять лет до него, в 1968 году, В.Лакшин саркастически отозвался о литературоведах, которые в курсах и учебниках не находят места Булгакову, "как несколько раньше не находилось в них места Есенину, Бабелю или Цветаевой".** В последние го-

* К.Симонов, О трех романах Михаила Булгакова. В кн.: Михаил Булгаков, Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита, М., изд-во "Художественная литература", 1973, с.10.

** В.Лакшин, Роман М.Булгакова "Мастер и Маргарита", — "Новый мир", 1968, №6, с.284.

ды о Булгакове пишут много, но слова В.Лакшина не утратили справедливости.

"Записки юного врача" решительно отличаются от тех произведений, которые составляют "советскую литературу" двадцатых, а уж тем более тридцатых годов. Свойство этой литературы — монопольное господство социального конфликта. Человек не существует вне общества, внутри которого идет ни на мгновение не стихающая классовая борьба, принимающая разные формы и обличия: сюжеты образуются столкновением кулаков с батраками, или белых с красными, или помещиков с крепостными, или просто богачей с бедняками, или западноевропейских агентов (шпионов, диверсантов) с бдительными советскими гражданами. На основе такого конфликта строятся романы, повести, пьесы — Горького, Шолохова, Фадеева, Федина, Пильняка, Леонова, Погодина, Лавренева, Катаева, Олеси, даже поэтов: Маяковского, Тихонова, Сельвинского, Пастернака, Есенина, Багрицкого... На таком фоне проза Булгакова — при всей ненавязчивой скромности "Записок юного врача" — выглядит вызывающей.

Доктор Бомгард приезжает в Мурьевскую больницу 17 сентября 1917 года. Два месяца спустя, 29 ноября, он делает трахеотомию маленькой Лидочке, задыхающейся от дифтерита. 17 декабря он отмечает свой день рождения, выписывая хинин больному малярией мельнику. А что произошло в промежутке? Ничего не произошло — ни юный доктор, ни приезжающие к нему мужики не заметили великой Революции. Да она и не имеет значения по сравнению с муками болеющих людей и горькими переживаниями врача, стремящегося им помочь и обреченного на одиночество, на неудачи, на невольные убийства. Булгаковские описания больных жестоки до незабываемости, хотя и не отталкивают читателя грязно-кровавыми подробностями:

"Я глянул, и то, что я увидел, превзошло мои ожидания. Левой ноги, собственно, на было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы, и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости..." (64, "Полотенце с петухом"). Молодой доктор ищет пульс, и то счастье, которое овладевает

им, когда он вдруг находит "чуть заметную редкую волну", ни с чем не сравнимо.

"Она прошла... потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы... Хотел уже сказать: конец... по счастью, удержался... Опять прошла ниточкой волна..." (64).

Вот эта ниточка — важнее всего на свете; она-то и заглушила грохот Революции, Каждую из операций доктора Бомгарда мы прослеживаем до деталей, глядя на них наивными глазами начинающего медика: достоинство юного врача для нас, читателей, в том, что он все видит впервые, часто не понимая, не узнавая, не совмещая теоретические знания, полученные в университете, с небывалой действительностью.

"Она, голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали иодом, и я взял нож, при этом подумал: "Что я делаю?" Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила между раздавленной кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее..." (86, "Стальное горло").

Сила впечатления, вызываемого булгаковскими описаниями — производное, в частности, от свежести взгляда неопытного хирурга, от незнания им результатов своих же действий и неизменного удивления собственной откуда-то взявшейся удачливой умелости. Каждый из медицинских рассказов Булгакова может служить иллюстрацией к положению Шкловского, который формулировал сущность словесного искусства в связи с прозой Льва Толстого: "...он не называет вещь ее именем, а описывает ее, как в первый раз увиденную, а случай — как в первый раз произошедший, причем он употребляет в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а называет их так, как называются соответственные части в других вещах".*

Вот юный доктор рассказывает, как ему впервые пришлось вырывать пациенту зуб:

* Виктор Шкловский. Искусство как прием. В кн.: Поэтика. Сборник по теории поэтического языка. Петроград, 1919, с. 106.

"...здоровеннейший, прочно засевший в челюсти, крепкий зуб с дуплом. Щурясь с мудрым выражением и озабоченно покрякивая, я наложил щипцы на зуб /.../ Во рту громко хрустнуло, и солдат коротко взвыл:

— Ого-го!

После этого под рукой сопротивление прекратилось, и щипцы выскочили изо рта с зажатым и окровавленным белым предметом в них. Тут у меня екнуло сердце, потому что предмет этот превышал по объему всякий зуб, хотя бы даже и солдатский коренной. Вначале я ничего не понял, но потом чуть не зарыдал: в щипцах, правда, торчал и зуб с длиннейшими корнями, но на зубе висел огромный кусок ярко-белой кости,

— Я сломал ему челюсть, — подумал я, и ноги мои подкосились..." (146, "Пропавший глаз").

Или вот описание самоубийцы, пустившего себе пулю в грудь:

"Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывающимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул, пульс исчезал под пальцами, тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бедное тело в щипок на плече, чтобы впрыснуть камфару. Тут раненый расклеил губы, причем на них показалась розоватая кровавая полоска, чуть шевельнул синими губами /.../ Тени серо-фиолетовые, как тени заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев носа, и мелкий, точно ртутный, пот росой выступил на тенях" (107, "Морфий").

В "Записках юного врача" осуществляется обновление реальности посредством непонимания ее механизмов. Описание того, как вместе с зубом выломан какой-то белый предмет, напряженно-драматично, потому что зубодер, он же автор, не знает, что именно он сделал, и, считая себя убийцей, испытывает раскаяние и страх.

Булгаков прослеживает неуловимые расхождения между несколькими слоями "внутреннего человека", которые обнаруживаются в конфликтах то между ощущением и мыслью, то между мыслью и речью, то между сном и явью. Зачастую рассказчик с удивлением констатирует, как внутри него родился чужой голос, произнесший неожиданные для него слова, противоречащие, казалось бы, его мыслям и намерениям. Такие внутренние диалоги встречаются в "Записках", порой

они даже преобладают — например, в рассказе "Полотенце с петухом", где "внутреннее действие" занимает гораздо больше места, чем в высшей степени напряженное внешнее. Остановлюсь лишь на трех эпизодах этого "внутреннего действия".

Молодой врач приехал во двор Мурьевской больницы и смотрит на свою будущую резиденцию; внезапно он с изумлением констатирует независимо от его воли родившуюся в памяти цитату:

"И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки мозгах полный тенор с голубыми ляжками:

"Привет тебе... приют священный..." (58).

Следует внутренний монолог, в котором сменяются мысли о тулупе, о ночлеге в Грабиловке, медленной езде, дожде, пейзаже. Затем первое знакомство доктора с больницей и сотрудниками, и длинное размышление о слове "освоиться":

"Человеку, кроме огня, нужно освоиться".

Доктор видит учебники и атласы, он радуется им:

"Надвигался вечер, и я осваивался". "Я ни в чем не виноват, — думал я упорно и мучительно, — у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятаков. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: "Освоитесь". Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с ней освоюсь? И в особенности каково будет себя чувствовать больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)".

В обоих пассажах диалог возникает вследствие произвольного рождения цитаты — из оперной арии или слова "освоитесь", произносимого кем-то в университете. В дальнейшем диалог материализуется, становится вполне отчетливым: рассказчик беседует сам с собой, оценивает или осуждает себя, внутри него возникает некий "суровый голос", который издевается над молодым лекарем; голос оказывается не то Страхом, не то Усталостью, не то порождением сна. Весь этот эпизод следует привести — он характерен для повышенного интереса, питаемого Булгаковым к иррациональным процессам, текущим во "внутреннем человеке".

"В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с

лампой, увидел, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне.

"Я похож на Лжедмитрия", — вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.

Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы.

Так-с... Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье... "Тут тебе грыжу и привезут, — буркнул суровый голос в мозгу, — потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор".

Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.

"Молчи, — сказал я голосу, — не обязательно грыжа. Что за невращения? Взялся за гуж, не говори, что не дюж".

"Назвался груздем, полезай в кузов", — ехидно отозвался голос.

Так-с... со справочником я расставаться не буду... Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать...

"Соду можно выписать!" — явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу инфузум... на 180. Или на двести. Позвольте.

И тут же, хотя никто не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то "инсипин"...

"Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?" — упорно приставал страх в виде голоса.

"В ванну посажу, — остервенело защищался я, — в ванну. И попробую вправить".

"Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная, — демонским голосом пел страх. — Резать надо..."

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: все, что угодно, только не ущемленную грыжу.

А усталость напевала:

"Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный невращеник. Гляди — тьма за окнами покойна, спят стынувшие поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься... Спи... Брось атлас... Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо..."

Принцип максимального изумления перед лицом оstra-ненного внешнего и внутреннего мира, лежащий в основе "Записок юного врача" и углубленный их фабульной предпосылкой, вообще важен для творчества Булгакова. Надо ли го-

ворить, что он составляет стилистическую сущность гротескной повести "Собачье сердце"? Здесь мир увиден глазами голодной дворняги, которая, заметив некоего гражданина в пальто, думает:

"Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустеющий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю — в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!.. (16-17).

Впоследствии этот пес Шарик станет товарищем Шариковым, но сохранит свойственный ему собачий взгляд на мир и общество. Другой пример: взгляд на Москву и москвичей, свойственный сатане и его, Воланда, помощникам в "Мастере и Маргарите". Впрочем, это иная, весьма обширная тема — о различных видах и масштабах остранения в прозе Булгакова, которая при видимой традиционности,* является, безусловно, новаторской.

Доктор Бомгард проморгал Революцию и не заметил гражданской войны: у него были куда более важные заботы. Булгаков писал и о социальных потрясениях своего времени, но обычно эти страницы носят характер юмористический или гротескный — такова журналистика из "Накануне" и из других периодических изданий, таковы главы о домохозяйине Василисе в "Белой гвардии" и повесть "Собачье сердце".

На противопоставлении эфемерного и вечного построен роман "Мастер и Маргарита", в котором гротескно-ироничны социальные главы с чертовщиной, московским балаганом, коммунальными квартирами, мелкими страстями корыстолюбцев, и возвышенно-патетичны главы о вечном, о Добре, которое принес в Ершалаим Иешуа Га-Ноцри. Серьезного, глубоко драматического отношения к себе заслуживает не

* "Булгаков не изобретает новой прозы, он усердно учится у старой". — Л.В.Лосев. Первая книга Михаила Булгакова, В кн.: Михаил Булгаков. Записки на манжетах. Нью-Йорк, 1981, с. 16.

социальный человек, страсти которого эфемерно-преходящи, а физиологический и психологический, принадлежащий к природе, а через нее — к вечности. В.Лакшин пронизательно заметил, что в "Мастере и Маргарите" неизменно присутствуют "два немых свидетеля" — "лунный и солнечный свет, заливающий страницы книги", и это, по его мнению, — "не просто эффектное освещение исторических декораций, но как бы масштаб вечности... Ими озаменована связь времен, единство человеческой истории".* Это — ключ к поэтике Булгакова, в творчестве которого тот же В.Лакшин видит "особенно острый интерес к вопросу морального выбора, личной ответственности"*** и обобщает: "...победа искусства над прахом, над ужасом перед неизбежным концом, над самой временностью и краткостью человеческого бытия".*** Добавлю то, чего В.Лакшин даже в "Новом мире" 1968 года сказать не мог: преобладание общечеловеческих — физиологических и моральных — проблем над социальными, вечного над бранным. В этом и смысл патетических строк, завершающих "Белую гвардию" и по времени написания непосредственно предшествующих "Запискам юного врача": "Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?"

* "Новый мир", 1968, №6, с.288.

** Там же, с.310.311.

*** См. также ответ В.Лакшина М.Гусу. — "Новый мир", 1968, №12, с.262-265.



Марк АЛДАНОВ

Идя навстречу сорокалетию победы над гитлеровской Германией, мы публикуем отрывки из записных книжек писателя Марка Алданова. На первый взгляд, перед нами — не более чем наброски портретов крупнейших политических деятелей того времени — Черчилля, Сталина, Гитлера, Чемберлена. Но эти наброски сопровождаются столь меткими наблюдениями автора, что приобретают современное звучание и помогают нам лучше понять истоки сегодняшней политики в мире.

МИР ПОСЛЕ ГИТЛЕРА

Из записных книжек

В последнем томе своих воспоминаний Черчилль говорит: он желал бы, чтобы потомство о нем судило по его (всем известному) обращению к президенту Трумену. В этом обращении были им в первый раз употреблены слова "железный занавес". У него всегда была любовь к стилю, к удачным запоминающимся выражениям. Он в самом деле человек исключительно одаренный и в литературе. Но скажем правду: в словах "железный занавес", если даже он их автор (это, кажется, оспаривалось), ничего замечательного не было: слова как слова. Документ же действительно был важный.

Однако по пронизательности и по сжатости мысли еще более важна и интересна его коротенькая телеграмма от 11 мая 1945 года Идену, который тогда в Сан-Франциско разрабатывал устав Объединенных Наций. Привожу эту телеграмму целиком:

"Сегодня газеты сообщили, что начинается в значительных размерах и будет продолжаться из месяца в месяц увод аме-

риканских войск (из Европы, — М.А.). Что мы будем делать? Скоро начнется сильное давление и здесь (в Англии), чтобы мы произвели частичную демобилизацию. Очень скоро наши армии растают. Русские же могут, имея сотни дивизий, остаться хозяевами Европы, от Любека до Триеста и до греческой границы на Адриатическом море. Это гораздо важнее, чем поправки к мировой конституции, которой, очень может быть, вообще не будет и которая рискует быть сметенной после периода затишья третьей мировой войной".

Больше ничего. Но написано это было через четыре дня после капитуляции Германии. Как раз в те дни между Лондоном и Москвой происходил обмен самыми горячими поздравлениями и приветствиями. Черчилль "от глубины души" желал всякого счастья Сталину и поручал своей жене, которая тогда находилась в Москве, "передать эти слова дружбы" и заверить Сталина, что он часто о большевистских вождях ("обо всех вас") думает (последнее заверение было, впрочем, чистейшей правдой). В этой телеграмме была и литература, и даже поэзия ("Долина мрака, через которую мы прошли вместе"... "Великое солнце победного мира"). Сталин отвечал еще более нежно британскому премьеру. Несколько раньше телеграфировал ему: "Г-жа Черчилль произвела на меня сильнейшее впечатление. Она передала мне и ваш подарок. Позвольте от души вас поблагодарить".

В телеграмме же Идену никакой поэзии не было. Уже через месяц-другой после совещания в Ялте Черчилль освободился от иллюзий, будто можно в чем-то верить Сталину. Правда, от этой иллюзии он мог бы освободиться и раньше. Но телеграмма от 11 мая 1945 года поистине замечательна. Это крик отчаянья: дело идет к третьей мировой войне, а вы занимаетесь ерундой!

Интересно и то, что о демобилизации Черчилль узнал из газет. Сам он никакого выхода и не предлагал. Просто: "Что мы будем делать?"

О ГОСТЕПРИИМСТВЕ

В Ялте на конференции 1945 года гостеприимство было сказочное. Элеонора Рузвельт в своих воспоминаниях ("This I Remember") пишет: "Франклин всегда рассказывал о необыкновенных банкетах, устраивавшихся русскими вождами; количество еды и особенно напитков произвело на него сильное впечатление". Еще больше был поражен Черчилль. С восхищением описывает он и Воронцовский дворец. Кто-то в британской делегации сказал, что во дворце есть великолепный стеклянный аквариум, но без золотых рыбок. Через два дня были доставлены золотые рыбки.

Другой англичанин вскользь упомянул, что любит добавлять к коктейлю лимон. На следующий день в вестибюле оказалось дерево с лимонами, откуда-то доставленное на аэроплане. "Их расточительность (в гостеприимстве) переходит все границы", — телеграфирует Черчилль своему заместителю в коалиционном кабинете Эттли.

Имеет ли значение гостеприимство на конференциях? Некоторое значение, конечно, имеет. Преувеличивать не надо, вино и хорошие обеды можно иметь и без конференций. И все-таки что-то они меняют, особенно в наше время. Наполеон за обедом оставался четверть часа и почти никогда не пил.

Черчилль сам рассказывает, что через месяц после Ялтинской конференции он в Файюмском оазисе завтракал с королем Ибн-Саудом. Его арабы предупредили, что за завтраком будет подаваться из напитков только вода, привезенная королем из Аравии; пить же вино и курить в присутствии короля нельзя. Британский премьер через переводчика ответил (цитирую дословно): "Если религия Его Величества запрещает ему курить и пить спиртные напитки, то я должен довести до его сведения: правило моей жизни сделало для меня самой священной обязанностью курить сигары и пить спиртные напитки перед завтраками и обедами, после завтраков и обедов, а также в случае необходимости во время завтраков и обедов и в промежутках между ними". Король изъясился согласием "благожелательно".

Когда дипломатические переговоры ведутся по почте, по телеграфу или через послов, уточнить свою мысль, определить свои условия, сказать "нет", конечно, много легче, чем устно, да еще при сказочном гостеприимстве и таком же радушии. Опять-таки преувеличивать не надо, но человек человека даже видит на таких банкетах несколько по-иному. На президента Рузвельта, видимо, действовало именно "радушие" Сталина. Покойный президент, большой человек, должен был знать толк в людях: почти все его назначения, особенно военные (Маршалл, Эйзенхауэр, Нимиц) были превосходны. Однако он сказал одному из своих министров: "Я люблю Сталина и, думаю, что он меня любит". (I like him and I think he likes me). Этому было бы трудно поверить, но то же самое говорит о своем муже Элеонора Рузвельт: "Он действительно любил маршала Сталина".

Что же сказать о государственных людях, пьющих двадцатый по счету бокал? Бессмысленно было бы утверждать, что государственные дела решались людьми в нетрезвом виде. Все же и "винные пары" иногда надо принимать во внимание. Вероятно, Черчилль без колебания признал бы дураком всякого, кто стал бы его попрекать вздором и ложью его тостов — "Да как же иначе!.." По-видимому, в застольных речах он порою говорил первое, что ему приходило в голову. Приблизительный смысл одного его тоста: ему легче жить и работать при мысли о Сталине. (Для сравнения: в своих воспоминаниях он где-то называет Сталина "мой страшный гость".) Скажу и тут, что у великих политических мастеров прошлого и этого было меньше. Или, может быть, потому что тогда застольные речи не стенографировались, да и печатались много реже? Все же есть вранье и вранье. На последнем обеде в Ялте Черчилль долго говорил о том, как он счастлив и рад своей тесной дружбе "с этим великим человеком", слава которого наполняет не только Россию, но и весь земной шар". Сталин не остался в долгу и поднял свой бокал "за здоровье главы британской империи, самого мужественного человека на земле... Такие люди, как он, рождаются раз в столетие". И перейдя к будущим отношениям между союзниками, добавил

уж совершенно бесстыдно: "Ведь я наивный человек, Я думаю, что нельзя обманывать союзника, даже если он дурак. Если наш союзник так крепок, то ведь это потому, что мы друг друга не надуваем".

По-видимому, неверно, что Сталин на банкетах пил мало. Перед ним действительно ставили маленькую рюмочку, но, во-первых, тостов иногда бывали десятки, а во-вторых, Черчилль позднее это заметил и наливал ему коньяком полные стаканы ("стаканы для бордо").

Задушевные разговоры происходили и без всяких банкетов и "винных паров". Однажды Рузвельт поделился со Сталиным беспокойством: "Что произойдет в мире после того, как они оба и Черчилль умрут?"

— У себя в стране я все устроил. Точно знаю, что произойдет в России, — ответил Сталин.

Все-таки не очень устроил и не очень точно знал. Уж расстрела Берии он, наверное, не предвидел, как и не предвидел некоторой перемены отзывов о нем в советских книгах.

Дальше следовало импровизированное "уточнение". Что будет? Америка немного полевеет, Россия немного поправеет. "Мы приблизимся к некоторым вашим взглядам, вы, быть может, примете некоторые наши взгляды!"

Еще "мелочь": он в разговорах с союзниками говорил не "Ленинград", а "Петербург". Так, Ленин до конца своих дней писал по старой орфографии.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ СОЮЗНИКАМИ ДРУГОГО ЛАГЕРЯ

Эти отношения были тоже живописны, но в совершенно другом роде.

Итальянский министр иностранных дел Чано едет в ставку Гитлера; он заменяет своего тестя, заболевшего Муссолини. Великолепный экстренный поезд, свита, у каждого сановника свой салон-вагон, превосходная кухня в вагоне-ресторане, свежие цветы на каждом столике. Чано, совершенный невра-

стеник, много говорит, преимущественно о немецких сановниках:

"Этот дурак!.." "Тот дурак!.." "Эти идиоты немцы..." "Эти кретины немцы..." "Этот разбойник Риббентроп..." "Этот преступный фюрер!.."

Тут же находится германский посол фон Маккензен. Он старательно делает вид, что не слышит. — Поверить трудно, но рассказывает очевидец, итальянский дипломат, издавший очень правдивый дневник. Правда, дело было уже в пору германских военных неудач.

К сожалению, дипломат не описывает свидания Чано с Гитлером: он не присутствовал, был только переводчик. Зато кратко передает "атмосферу" ставки: "Похоже на дом умалишенных в гиблом месте. Каждый все время чувствует себя так, точно сейчас будет предан военному суду за измену".

Наконец, министр выходит из кабинета. Разговор ничего не дал. "Впечатление от Чано: он совершенно потерял самообладание. Не может сидеть спокойно, то встает, то снова садится. Шутит, потом темнеет, внезапно приходит в ярость, пробует рассуждать и раздражается ругательствами. Все время повторяет: "Ничего сделать нельзя, немцы ничего не желают слушать, они проиграли войну".

Все же подарками обе стороны еще обменивались. В 1943 году, в день рождения Геринга итальянский король прислал ему орден, осыпанный бриллиантами, и золотой меч, прежде предназначенный для короля Зогу. Бриллианты ордена стоили семьсот тысяч лир, меч — миллион. "Во всяком случае очень полезные подарки", — добавляет итальянский дипломат.

В противоположном лагере люди тоже обменивались подарками, но недорогими, да и те обычно тотчас же передавались музеям. Были, однако, и исключения.

Перед приездом Ибн-Сауда в Файюмский оазис заведующий церемониальной частью сказал Черчиллю, что королю надо сделать подарок. Черчилль не расщедрился, ассигновал на это сто фунтов и велел купить "роскошный ларец с духами", — в этом, верно, был "восточный стиль". Вышел конфуз, Ибн-

Сауд привез Черчиллю меч, усыпанный бриллиантами, "и еще другие великолепные подарки", а его дочери Саре — огромный чемодан; когда крышка была поднята, в чемодане оказались изумительные арабские платья, редчайшие духи и полдюжины футляров — в первом был бриллиант (ярлык с ценой не был снят: 1200 фунтов), в другом — жемчужное ожерелье и т.д. Вернувшись в Лондон, Черчилль доложил об этом правительству, отдал все драгоценности казначейству для продажи, а на вырученные деньги купил "самый прекрасный в мире автомобиль" в подарок Ибн-Сауду.

Тут сравнение бесспорно в пользу правителей нового времени. В старину подарки не отдавались ни казначейству, ни музеям, да и были они часто денежными. Баррас в четвертом томе своих воспоминаний с завистью приводит список "дипломатических начав", полученных в разное время Талейраном. Итог составляет 117.690.000 франков. Другие говорят только о шестидесяти миллионах.

* * *

Гитлер в дополнение к другим своим бесспорным дарованиям, был еще замечательный имитатор. Юнити Митфорд, столь с ним дружная, восторженно говорила, что как имитатор он на сцене мог бы зарабатывать огромные деньги. В тесном кругу он подражал Герингу, Геббельсу, Гимлеру, но всего охотнее и всего лучше изображал Муссолини. "Все покатывались со смеху".

Это не очень интересно. Однако иногда, по словам Митфорд, он подражал самому себе! Как правильно говорит видевшая его вблизи дама, это бросает на фюрера новый свет. Какой же "фанатик", если весело-шутливо воспроизводит свои собственные фантастические речи!

"ДЕТКИ РОДИЛИСЬ"

И все-таки есть нечто малопонятное, почти непостижимое в переговорах, в отношениях между Черчиллем и Сталиным.

Документы теперь напечатаны, письма, шифрованные телеграммы. Мы точно знаем, что сейчас же после капитуляции Германии и даже с того времени, когда эта капитуляция явно стала делом ближайших недель, основным чувством Черчилля был страх, все возрастающий страх, почти ужас перед могуществом СССР: коммунисты могут овладеть всей Европой. Главная его мысль: как этому помешать? Теперь уже совершенно ясно было: нас обманули! Он предвидел, какие последствия будет иметь для Чехословакии и для всего мира занятие Праги советской армией. Едва ли не единственный из власть имущих, он умолял, настаивал, чтобы Берлин взяли американские и английские войска. Требовал этого от Рузвельта, потом от Трумена, от Эйзенхауэра: технически это, по его мнению, было нетрудно, политически — совершенно необходимо.

Не стоит здесь говорить, почему его требования были отклонены, — это достаточно известно. Сам он приказать английскому командованию не мог: главнокомандующим был Эйзенхауэр; да и независимо от этого вес Англии все понижался: к концу войны ее вооруженные силы были втрое меньше американских, почти всю тяжесть войны несли на себе Соединенные Штаты, и если его воля имела все-таки гораздо больше значения, чем генерала де Голля, то это преимущественно было основано на его огромном личном авторитете. — Он не добился ничего. О том, каково было тогда состояние его нервов, можно судить по его истинно поразительной секретной телеграмме генералу Исмею от 27 мая 1945 года: он требовал, чтобы хоть воздушный флот оставался в боевой готовности: "это даст нам возможность действовать на коммуникационные линии советских армий, если они решатся двинуться дальше, чем условлено". Так он писал через три недели после окончания войны с Германией! — Просто не могу понять, как он теперь разрешил опубликовать эту телеграмму.

И тем не менее...

Черчилль говорил американскому издателю (от которого я это слышал), что в своих воспоминаниях он не скажет всей правды и не может сказать. Тут, конечно, и спора нет:

нет вообще таких воспоминаний, особенно политических, где была бы сказана вся правда. Черчилль, верно, не сказал и половины правды. Его воспоминания имеют огромную ценность благодаря обилию фактов и документов. Суждений о людях в них нет, или же они банальны и очень мало интересны. Очевидно, об этом он предпочел умолчать. Тут еще победы. Но тон многих его глав удивителен. Это тон просто-душной старушки, верящей всему, что она говорит.

18 июля 1945 года в Потсдаме Черчилль обедает наедине со Сталиным. Это была их первая встреча после победы над Германией, после кончины Рузвельта (добавлю: и после секретных телеграмм Идену и генералу Исмею). Обед продолжается пять часов. На этот раз не было тостов, нет и сведений о напитках. Беседа спокойная, дружеская, душевная. В Англии ожидаются результаты выборов (повлекших за собой падение кабинета Черчилля). Черчилль почти уверен в своей победе, но только почти. Он в Германии ласково беседовал с английскими солдатами, они были с ним очень милы, пели в его честь "For he is a Jolly good Fellow", но поглядывали на него смущенно: "Кажется, они в большинстве голосовали против меня". Сталин успокаивает своего гостя: какое же может быть сомнение? Конечно, вы победите, по моим сведениям, вы получите большинство голосов. Он выражает также радость по тому поводу, что в Англии монархическая форма правления, ведь на ней держится единство британской империи. Как жаль, что ваш король не приехал в Берлин, — со своей стороны Черчилль чрезвычайно рад тому, что Россия стала и великой морской державой, он горячо желает, чтобы русские суда плавали по всем океанам. Сам поднимает вопрос о Дарданеллах и конвенции Монтре, — говорит (правда, тут несколько неопределенно), что и об этом можно будет сговориться. Да и почему только Дарданеллы? Вы должны также иметь доступ к Кильскому каналу. А то Россия, при двух узких выходах из Балтийского и Черного морей, похожа на великана, которому забили бы обе ноздри. Необходим вам и выход к теплой части Тихого океана. Вообще можно сговориться обо всем.

Что было бы, если б в столовой находился детектор лжи? Быть может, этот инструмент показал бы, что за все пять часов оба собеседника не сказали друг другу ни одного слова правды? Однако я в этом не вполне уверен. Допускаю, что Черчилль и в самом деле хоть немного надеялся на соглашение, — он и теперь ведь об этом думает: вдруг? кто может знать?

Как раз накануне, в Потсдаме, американский министр Стимсон передал Черчиллю записочку. В ней было всего три слова: "Детки благополучно родились". Разумеется, первый министр ничего не понял: какие детки? Оказалось, это значило: у американцев, наконец со вчерашнего дня есть атомная бомба!

Черчилль был совершенно поражен. Говорит, что это было полной для него неожиданностью. Он знал, конечно, что в Америке ведутся исследования, что тратятся сотни миллионов, но, по-видимому, плохо верил в возможность грандиозных результатов. Это было одним из самых сильных впечатлений всей его жизни. Прежде всего атомная бомба означала близость полной победы и над Японией. Он ценил японских солдат, кажется, еще выше, чем германских. Да и в самом деле, на Окинаве японский гарнизон составлял около ста тысяч человек; из них девяносто тысяч (случай неслыханный в военной истории) выстроились в последний день — и в строю покончили с собой; да еще было 1.900 летчиков-самоубийц (камикадзе): эти бросались на американские суда и таким способом тут же взрываясь, потопили 34 миноносца, вывели из строя еще множество судов. Что же будет, когда такие люди будут защищать подступы к Токио!

Но было еще и другое. Ему очевидно, тогда с полной ясностью представилось, что будет с Англией, когда те же детки родятся у СССР. Не лучше ли сговориться со Сталиным, хотя бы и очень дорогой ценой?

Предстояло и маленькое удовольствие. Он и Трумен долго совещались, как и когда сообщить Сталину об атомной бомбе. Сообщил, естественно, президент. Тут в Черчилле сказался писатель: "Я стоял, быть может, в пяти метрах от

них и с величайшим вниманием прислушивался к их сенсационному разговору... Вижу по сей день эту сцену, как если бы она произошла вчера. Сталин казался восхищенным: новая бомба! Необычайной мощи! Какое счастье!

У меня было в тот момент впечатление, а потом и уверенность, что он не имел ни малейшего понятия о важности сообщенного ему факта", — пишет Черчилль. Это уже не совсем понятно. Разумеется, Сталин не имел такого воображения, как он, не сразу понял и все значение взрыва первой атомной бомбы. Но "не иметь ни малейшего понятия" он никак не мог, — отсылаю к ценной книге Оливера Пайлата о советском шпионаже в Америке, добывавшем атомные секреты.

С некоторым основанием позволительно утверждать, что атомная бомба могла появиться в СССР в то же время, что и в Соединенных Штатах. В России, как и в других странах, еще до войны были ученые, смутно предвидевшие значение ядерных исследований. Первый циклотрон был создан знаменитым американским ученым Лоуренсом, но, согласно Джеральду Остеру, вскоре после этого открытия советское правительство отпустило деньги на постройку циклотрона в России. Об атомной бомбе тогда не думали и на Западе. Исторический опыт Штрассмана был произведен в Германии в 1938 году. Эйнштейн утверждал, что Штрассман не понял значения своего опыта. Сам Эйнштейн, как известно, в своем — тоже историческом — письме к Рузвельту говорил, что уран может дать новый мощный источник энергии "в близком будущем". Однако несколькими годами позднее он писал: "Я на самом деле не предвидел, что она (атомная энергия) будет освобождена в мое время. Я только считал это теоретически возможным".

Все тут было лотереей: кто первый? В отличие от Рузвельта Гитлер во время войны отпустил на ядерные исследования гроши — и назначил распорядителем члена национал-социалистической партии, военного капельмейстера Шумана. Сталин деньги давал, однако из бежавшей в СССР задолго до войны группы германских физиков — евреев и неевреев (как я слышал, среди них были люди, близкие к Штрассману) — не-

которые были расстреляны в пору чисток 1937 года, а другие (за одним, кажется, исключением — Ланге), были любезно выданы гестапо в 1939 году, после договора с Риббентропом.

О ДРУГИХ ПРЕМЬЕРАХ

Не все британские первые министры были похожи на Черчилля. Где до него Питту, Гладстону, Дизраэли, Ллойд-Джорджу!

Американская журналистка Вирджиния Коульс в годы войны и в годы, ей предшествовавшие, изъездила Европу, говорила с знаменитыми государственными деятелями. Разговаривала с Невиллем Чемберленом тотчас после Мюнхена, откуда он привез "почетный мир". Это было время величайшего триумфа, на него тогда молилась чуть не вся Англия. В лондонских кондитерских выставлялись в его честь сахарные зонтики. Британские магазины печатали в газетах объявления с выражением ему глубокой признательности народа.

Чемберлен сказал журналистке много ценного. Сказал, что популярность Гитлера в Германии начинает падать. Сообщил, что национал-социалистические дружинники СС устраивали в Мюнхене ему, Чемберлену, овации, — это произвело на него сильнейшее впечатление.

Митфорды же говорили, что Чемберлен чрезвычайно понравился Гитлеру. По-видимому, ему нравились многие его гости. После приезда Молотова в Берлин Деканозов докладывал Кремлю: "Очень понравился Гитлеру товарищ Молотов". После Годесбергской встречи фюрер, по словам Митфордов, называл главу английского правительства "дорогим стариком" и был "почти потрясен" тем, что дорогой старик принял для встречи с ним утомительное путешествие. Собирался отдать ему визит и добавлял: "Я знаю англичан. Они мне на аэродроме устроили бы прием с двенадцатью архиепископами".

Одно, впрочем, ему не понравилось: Чемберлен любил охоту. Гитлер прямо сказал старику, что не может этого понять: "как можно проявлять такую жестокость, — убивать птиц!

Госпожа Коульс тогда приехала из Чехословакии. Чемберлен спросил ее: "Скажите, было ли у вас впечатление, что у чехов осталась некоторая горечь в отношении Англии?"

Тем не менее американская журналистка уверяет, что ум у британского премьера был "живой и юмористический". Я раз слышал в Лондоне его длинную речь.

Если же верить германским генералам (а в настоящем случае они, по-видимому, говорят чистую правду), Чемберлен тогда спас Гитлера. Гальдер, Браухич, Витцлебен, Бек были убеждены, что нападение на Чехословакию повлечет за собой мировую войну, и твердо решили на это не идти. У них происходили тайные совещания в Целендорфе. Было постановлено произвести вооруженный переворот и "убрать" фюрера. Как раз во время последнего, окончательного совещания пришло известие, что Чемберлен и Деладые едут в Мюнхен.

— Я тотчас отменил приказ о восстании, — показал Гальдер на Нюрнбергском процессе. — У нас отняли самую основу для нашего дела.

— Значит ли это, — спросил председатель суда, — что если бы господин Чемберлен не отправился в Мюнхен, то ваш план был бы осуществлен и Гитлер был свергнут?

— Я могу только сказать, что план был бы осуществлен. Никто не знает, удался ли бы он, — ответил бывший начальник генерального штаба.

Если не все, то большинство германских генералов ненавидели Гитлера. Нет таких ужасных слов, которых они бы о нем не говорили в своем кругу (сужу и по дневнику фон Гасселя), особенно фон Гаммерштейн, Гальдер и фон Фитцлебен.

Были и исключения. К ним принадлежал генерал-фельдмаршал фон Манштейн. Он долго был любимцем фюрера, которому подал мысль о Седанском прорыве. Гитлеру не повезло: впоследствии стало известно, что настоящая фамилия Манштейна — Левинский. Он ребенком был усыновлен четой фон Манштейнов.

О ГИТЛЕРЕ И О ЕГО РАЗВЕДКЕ

Гитлер не очень собирался свергать в России коммунистический строй. Ульрих фон Гассель, бывший германский посол в Риме, впоследствии казненный по делу о заговоре 1944 года, сообщает в своем дневнике:

Фюрер сказал фон Папену (который это и передал Гасселю), что дойдет (в России) только до определенной географической границы, а потом можно будет сговориться со Сталиным: "Он все-таки великий человек и осуществил вещи неслыханные", — сказал Гитлер. Сталин был тоже очень высокого мнения о фюрере, во всяком случае, более высокого, чем о своих демократических союзниках.

Гораздо удивительнее, что из казненных участников заговора некоторые тоже были за "ориентацию" на Сталина, особенно граф Шуленбург. Большинство было за соглашение с Черчиллем и Рузвельтом. Сам Ульрих фон Гассель занимал среднюю позицию. Предпочитал Англию и Соединенные Штаты, но говорил: "Возможность "перемены" фронта" в сторону востока должна быть дополнением".

Гитлер по-настоящему ненавидел генералов, за исключением, кажется, летчиков. "У меня национал-социалистическая авиация, христианский флот и реакционная армия", — говорил он. По словам Гасселя, главнокомандующий, фельдмаршал Кейтель, на вопрос о положении на фронте, заданный ему в 1942 году генералом Ольбрихтом, ответил: "Я ничего об этом не знаю, он мне ничего не говорит, он только плюет мне в глаза!" По совпадению, как раз к шестидесятилетию Кейтеля, "в бурном припадке ярости Гитлер его вышвырнул".

Симони, присутствовавший на военно-политическом совете у фюрера, говорит, что это походило на спиритический сеанс. Под конец совета Гитлер закрыл глаза и стал размышлять. Тотчас наступило глубокое молчание. Один из итальянцев что-то сказал, все оглянулись на него с раздражением. Опять наступила тишина. "Сейчас, сейчас решение, — шепнул Гетцдорф. Действительно, глаза у Гитлера стали медленно расширяться" и т.д.

Приказ о войне был им отдан в два часа дня; через четыре часа, в 6.15, отменен "мир спасен на двадцать лет!", — торжественно восклицает Канарис; затем снова отдан. Министры даже не были созваны. В промежутке у фюрера "страшный нервный припадок", — пишет Госсе. Припадок кончился в 5.30.

По-видимому, он слышал "голос". Как в день покушения в мюнхенском погребе. На следующий день после покушения Гитлер сам сообщил, что во время своей речи услышал голос: "Уходи... Уходи"... — "Я не мог сопротивляться и ушел". Через несколько минут после того погреб был густо залит кровью.

Плотник Эльсер, поставивший в погребе бомбу с часовым механизмом, был скоро схвачен. Он не был казнен и не подвергался пыткам. Его устроили в Дахау (вместе с пастором Нимеллером) в особом павильоне, отвели ему две комнаты, дали даже гитару: астролог сказал Гитлеру, что его жизнь связана с жизнью Эльсера. Так Эльсер прожил еще несколько лет. Только перед самым концом, когда он уже, очевидно, решил покончить с собой, фюрер велел убить плотника — и объявить, что он погиб от бомбардировки.

Астролог ли или голос продиктовали один из первых приказов после начала войны: истребить в Польше евреев, католическое духовенство и знать? Канарис и Лахузен отправляются к Кейтелю и сообщают ему, что исполнение этого приказа опозорит германскую армию. Кейтель уклончиво отвечает, что таков приказ фюрера, — "он мне иногда сообщает свои приказы, иногда нет". Впрочем, фюрер наперед добавил, что если армии это неудобно, то дело будет поручено гестапо и дружинникам.

Адмирал Канарис, глава военной разведки, впоследствии тоже замученный в застенке гестапо, объезжал в 1940 году германских фельдмаршалов и генералов, убеждая их подать Гитлеру протест против зверств, совершавшихся дружинниками СС в Польше. На это согласился даже Рейхенау, член национал-социалистической партии. Отказался наотрез генерал фон Паулюс, тогда еще не фельдмаршал, — теперь люби-

мец и союзник коммунистов. Он считал действия Гитлера правильными. "Канарис доложил об этом своей группе с глубочайшим возмущением", — говорит его биограф Карл Абсханген.

Тот же Абсханген сообщает (об этом, впрочем, говорилось и на Нюрнбергском процессе), что Гитлер через фельмаршала Кейтеля 23 декабря 1940 года отдал Канарису приказ об убийстве генерала Вейгана, находившегося тогда в северной Африке: опасался, что генерал может реорганизовать французскую армию. Канарис сообщил о приказе своим ближайшим сотрудникам по разведке: генералу Остеру, полковнику Пикенброку, Лаузену и Бентивеньи. Все резко протестовали. Было единогласно решено не приводить приказа в исполнение.

Так же был саботирован разведкой другой приказ фюрера: "живым или мертвым" захватить и доставить бежавшего во Францию из плена генерала Жиро. Полковник Бикенброк, человек вспыльчивый, сказал Канарису:

— Надо раз навсегда попросить господина Кейтеля довести до сведения его господина — Гитлера, что военная разведка не общество убийц вроде дружинников СС.

В форме более приемлемой это и было доложено фельдмаршалу.

Как водится, в Германии военная разведка ненавидела политическую полицию, а полиция — разведку (то же самое, конечно, происходит и в СССР), и тоже, как водится, общие дела были. Одним из них была "операция Пасториус".

Гитлер предписал отправить на подводной лодке в Соединенные Штаты десять тайных агентов для разных видов саботажа. Организация дела была поручена разведке, но людей намечало гестапо из дружинников. Их нашли. В последнюю минуту осталось девять — десятый заболел. Они высадились на западном побережье — и тотчас были арестованы американскими властями.

Как все, я живо помню необычайную сенсацию. Помню аршинные заголовки нью-йоркских газет: "Девять немецких агентов тайно высадились в Соединенных Штатах и тотчас

схвачены". "Бдительность нашей береговой стражи"... "Огромный успех наших властей" и т.д. Бдительность и заслуга были действительно велики, но они заключались в другом, и для некоторых людей в Вашингтоне дело особенной сенсацией не было: двое из высадившихся немцев состояли на службе американской контрразведки и ее обо всем заблаговременно осведомили. Об этом после войны рассказал немецкий биограф Канариса, очевидно, от него это и знавший. В американской мемуарной литературе мне это указание не попадалось.

Гитлер вызвал к себе Канариса и осыпал его исступленной бранью: почему дело было так плохо организовано, почему он выбрал столь неподходящих агентов и т.д. В числе упреков был и один довольно неожиданный: почему он не назначил для этого дела евреев! Канарис мог бы ответить, что евреев было бы трудно найти среди национал-социалистических дружинников. Он этого не сказал: по-видимому, уже в ту пору считал фюрера душевнобольным. Но своим ближайшим сотрудникам объявил, что Гитлер приказал ему принимать евреев в разведку. Немедленно он несколько евреев и пригласил, выдал им заграничные паспорта, — они таким образом спаслись. Гестапо долго было в изумлении. Но Кальтенбрунер обратился за разъяснением к фюреру, и "приказ" был отменен.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; "Свободный мир"; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП "АВРОРЫ"

Инженер Сэм Житницкий: "Оплот Израиля"; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака

Книгу можно заказать в редакции "Время и мы":

"Time and We" 475 Fifth ave, room 511-A

New York, New York, 10017

Цена книги 10 долларов.

В книге 254 стр.



Виктор РАДУЦКИЙ

РАЗГОВОР С "НЕТИПИЧНЫМ" АРАБОМ

За мои почти восемь лет жизни в Израиле мне не раз приходилось разговаривать с арабами. Я встречал арабских студентов в кампусе Еврейского университета в Иерусалиме, где находится колледж, в котором я работаю, не раз дискутировал с ними на студенческих демонстрациях. Появились у меня приятели арабы и в Старом городе, я встречался с ними и у своих израильских друзей. Но все эти беседы, хотя и вполне дружелюбные, были чаще всего формальными. Мы как бы стеснялись нарушать приятную атмосферу, обычно сопутствующую таким встречам,

С Джамилем Хамадом с первого же слова все было иначе. Этот невысокий, плотный мужчина с широкой улыбкой сразу же повернул беседу: говорили откровенно. (Почти откровенно — признаюсь я, вспоминая все обстоятельства.) Мы сидели в компании друзей Джамиля, и я чувствовал, что и для них наша беседа была как бы отходом от традиционных разговоров, принятых в таких случаях.

Ниже я привожу фрагменты из нашей довольно долгой беседы. Быть может, не всем, кто прочтет эти отрывки, наши разговоры придутся по вкусу. Быть может, придирчивый читатель упрекнет меня за то, что я не опровергаю "ошибочные" неточные высказывания моего палестинского собеседника. Но я и не стремился "указать" Джамилю на его "ошибки". Я, как и Джамиль, знал, что пропасть, которая разверзлась между нами — так просто не перемахнуть. Мне хочется, чтобы читатель обо всем судил сам: ведь не каждый день можно прочесть по-русски беседу с "нетипичным" арабом, как назвал Джамиль самого себя. А уж почему он "нетипичный", — это читатель узнает сам.

Итак, беседа с "нетипичным" арабом.

Р а д у ц к и й. Может быть, скажешь вначале несколько слов о себе.

Х а м а д. О, это обычная история каждого палестинца. С точки зрения политической я — беженец. Я родился в деревне Рафат, которая нынче не существует. Теперь это просто земли, принадлежащие кибуцу "Цора", неподалеку от Бейт-Шемеша. Деревню взорвали во время войны 1948 года. Ури Авнери — тот самый, что ездил к Арафату в осажденный Бейрут, редактор еженедельника "Хаолам хаза" — входил в подразделение, взрывавшее деревню. В том же 1948 году моя семья переселилась в Бейт-Лехем, Здесь я вырос, закончил школу, работал учителем, женился, стал отцом трех сыновей.

Р а д у ц к и й. Но я-то знаю, что ты — весьма успешный журналист. Твои статьи и корреспонденции печатают крупнейшие издания.

Х а м а д. Пожалуй, это верно. Меня печатает "Нью-Йорк Таймс", предоставляющая мне весьма престижное место для статей. Я пишу для "Ньюсвик", "Чикаго Санди Таймс", сотрудничаю с крупнейшими журналами в Лондоне, Париже, с изданиями в Латинской Америке. И конечно же, часто публикуюсь в "Джерузалем Пост" — ежедневной израильской газете на английском языке.

Р а д у ц к и й. Ну а твои взаимоотношения с Израилем? Ведь твои связи с евреями начались не вчера.

Х а м а д. Честно говоря, в детстве я вообще не знал, что такое палестино-еврейская проблема. Но позже, когда я подрос, все оказалось намного сложнее. Сегодня я знаю, что между нами — конфликт. Но это п о л и т и ч е с к и й к о н ф л и к т , а не конфликт моего сознания. Я считаю, что конфликт между мной и тобой, например, не определяется лишь тем обстоятельством, что ты — еврей, а я — палестинец. Главное это — политические разногласия. Первый президент Израиля Хаим Вейцман сказал, что наш конфликт — конфликт между одной правдой и другой, между одним правом на эту землю и другим. Я лично уверен, что на этой земле — место для двух наших народов: твоего и моего! Я не отрицаю прав евреев жить здесь, но не за счет того, что будет страдать мой народ. Я понимаю все те обстоятельства, которые привели евреев в Палестину. Я понимаю их озабоченность проблемами безопасности. Но боюсь, что у евреев возникла новая "еврейская проблема". И знаешь, как бы я ее определил? Это проблема палестинцев. Палестинцы были отвергнуты израильтянами. Они были отвергнуты арабами, так называемыми "арабскими братьями". По сути, все в этом мире отвернулось от палестинцев. В результате и выросло "палестинское самосознание". Евреи в этом смысле преподали палестинцам достойный урок. Но я лишен комплексов — и не могу ненавидеть человека лишь потому, что он еврей. Ненависть — это признак слабости. А у меня достаточно интеллектуальных сил, чтобы выразить себя без ненависти и ухищрений. Я думаю, что обладаю достаточной смелостью, чтобы заявить любому, включая премьер-министра Израиля: "Я с тобой не согласен". Но от ненависти я свободен.

Р а д у ц к и й . Знаешь ли ты, что эти мысли о ненависти не раз излагались израильскими лидерами? И если обратиться к истории, то нечто подобное можно найти у Жаботинского, например.

Х а м а д. Я читал Жаботинского. Я читал Герцля. Я читал многое из того, что написано лидерами сионизма. Но Жаботинского, по-моему, надо читать с осторожностью. И не мы, палестинцы, должны проявить осторожность, а как раз его израильские читатели.

Р а д у ц к и й. Любопытно, что ты имеешь в виду?

Х а м а д. От израильтян я часто слышал: "Жаботинский — это... Он был таким... Он говорил, что..." Но это зачастую весьма поверхностно. Я помню, что Жаботинский провозгласил необходимость абсолютного равенства прав евреев и арабов. И если арабы в один прекрасный день достигнут равноправия и будут большинством в стране, они выберут араба премьер-министром. А когда это произойдет, говорил Жаботинский, — не обвиняйте арабов. Предъявите претензии к еврейскому народу, который не приехал в Израиль, чтобы создать здесь преобладающее большинство. Примерно тринадцать миллионов евреев сегодня предпочитают жить вне Израиля. Даже если еврейское население в Израиле достигнет пяти миллионов, мечта Жаботинского все еще далека от воплощения. И пока его мечта не воплотилась в жизнь, я советую всем последователям Жаботинского помнить, что арабы не всегда будут меньшинством в стране. Сегодня арабское население Западного берега Иордана и полосы Газы составляет полтора миллиона человек. Это население управляется военной администрацией, армией, оккупировавшей эти территории. Жаботинский считал, что эти территории — часть Израиля. Поэтому, если уж говорить о Жаботинском, то почему бы не предоставить арабскому населению этих территорий, равные с евреями права?

Р а д у ц к и й . А что ты скажешь о той группе палестинцев, которая считает, что Израиль должен быть уничтожен? По Жаботинскому, надо быть достаточно сильным, чтобы с тобой начали переговоры о мире.

Х а м а д. А когда удастся договориться?

Р а д у ц к и й . О, это и мой вопрос! Жаботинский считал, что экстремистские лидеры арабов сойдут со сцены тогда, когда арабы поймут, что силой не удастся вытеснить евреев из Эрец Исраэль. И вот тогда-то появятся умеренные лидеры, которые "начнут с нами честно торговаться по практическим вопросам". И далее: "Я верю и надеюсь, что мы сумеем им дать такие гарантии, которые их успокоят, и оба народа смогут жить бок о бок мирно и прилично".

Х а м а д. Я не согласен. По-моему, у Жаботинского была такая же проблема, как у... Карла Маркса. Маркс, как это всем известно, был евреем. А евреи, между прочим, склонны повторять свои ошибки. Маркс твердил о классовой борьбе, о пролетариате, о других подобных вещах, но он забыл поговорить о... погодных условиях, от которых, как известно, страдает урожай в России.

Жаботинский говорил об арабах, но знал ли он их? Он писал о тех арабах, о которых читал в книгах. Но в истории уже были периоды, когда евреи и арабы мирно существовали. Евреи развивали свою культуру, философию, добивались богатства и влияния в мире под арабским управлением. Жаботинский "перескочил" через это. И многие в Израиле понимают дело так: поскольку арабы немедленно не вступают в переговоры о мире, стало быть, они хотят евреев уничтожить... Что ж, это удобная позиция! Я советую тебе да и любому не торопиться с выводами. Арабы — дикие люди. Они агрессивны и эмоциональны, непонятны с первого взгляда. Но к их чести будь сказано, арабы — приятные люди, щедрые и гостеприимные. И если бы кто-то из последователей Жаботинского сказал, к примеру, в 1970 году: "Президент Садат в 1977 году приедет в Иерусалим, чтобы заключить мир с Израилем" — то знаешь, что бы он услышал в ответ?: "Не становись арабом", что просто-напросто означает: не будь глупым. А я говорю иначе: "На Ближнем Востоке нет ничего невозможного!" Но давай согласимся, что мир — это длительный процесс, со спадами и подъемами. Люди, считающие, что достаточно заключить мир "на бумаге", — просто мечтатели. И потому арабские мечтания сбросить евреев в море — глупая фантазия. Но и мир, когда некоторые евреи видят Западный берег и Газу полностью свободными от арабского населения, — это тоже не мир. Поэтому израильтяне, — нравится им это или нет, — д о л ж н ы вступить в диалог с арабами. Арабы, даже если им это и не нравится, о б я з а н ы говорить с израильтянами. Но прежде всего мы должны попытаться понять друг друга. Для меня Израиль — это не Шамир, не Бегин, не Перес и даже не пацифисты из "Шалом ахшав". Израиль для меня —

это "человек с улицы", это кибуцники, это простые люди, озабоченные своими ежедневными проблемами. И когда мы говорим о палестинцах, — не будем касаться тех, кто говорит об уничтожении Израиля или взрывает бомбы и бросает камни в израильские машины. Поговорим о маленьких людях, которые озабочены тяготами жизни, пытаются прокормить свои семьи и которых не волнует ни ООП, ни Хуссейн, ни Шамир.

Р а д у ц к и й . Но тот простой люд, о котором ты говоришь, — хочет ли он мира?

Х а м а д. Простой люд хочет п о к о я и т и ш и н ы , но я не думаю, что этот люд заботится о м и р е .

Р а д у ц к и й . А арабские лидеры — хотят ли они мира?

Х а м а д. Знаешь что? Не спрашивай меня, о чем думают шейхи из Объединенных арабских эмиратов или саудовский король Фахед. Мне лично нет дела до того, что думают арабские лидеры. Да и достижение мира я вижу в иной плоскости. Даже если предположить, что Хуссейн, Ассад, саудовский король, даже полковник Каддафи завтра подпишут мирный договор с Израилем, то это все равно будет мир лишь "на бумаге", если я и ты не решим, что между нами должны быть мирные добрососедские отношения. Я хочу мира между м н о й и т о б о й...

Р а д у ц к и й . Но у меня с тобой вполне миролюбивые отношения. И если бы дело было только в нас, то мир был бы давно достигнут!

Х а м а д. Нет, это далеко еще от мира... Знаешь ли ты, что такое мир? Мир — это душевное состояние. Мир — это равные права. Наши общие с тобой знакомые — Наим, Мазен — миролюбивы. Большинство из тех, кого ты встречаешь в Бейт-Лехеме — миролюбивы. Более того, по личному опыту знаю, что большинство арабского населения настроено м и р о л ю б и в о . Мне приятно говорить с тобой о философии, о музыке и о жизни. Наше миролюбие и взаимопонимание столь очевидно. И все же настоящего мира нет между нами. Мир между соседями невозможен, если исключить понятие чести и достоинства. Так вот, я хочу обладать таким чувством собственно-

го достоинства, я хочу, чтобы и у меня, как и у тебя, был паспорт моей страны,

Вот сидим мы рядом: Виктор и Джамиль. Но у тебя есть одни законы, которым ты подчиняешься, а у меня — иные. И между прочим, я не из тех арабов, которые заставят есть тебя "маклубу" и "хуммус". А уж ты не трать понапрасну время, чтобы сделать из меня израильтянина, который бы питался продукцией "Тнувы". Не думай, что я заговорю на идише. Я — араб и всегда буду арабом. Ты — израильтянин, еврей и, думаю, всегда таким и останешься. Таковы факты. И поэтому давай признаем тщетными попытки израилизации Западного берега, но одновременно оставим и попытки арабизировать Израиль. Примем как данность тот факт, что евреи пришли в Палестину, чтобы создать еврейское государство. Поэтому и для арабов следует во имя справедливости добиваться того же: арабское население Палестины хочет создать свой национальный очаг, развивать и строить свою культуру.

Р а д у ц к и й . Почему же вы не делали все это в прошлом?

Х а м а д . В прошлом? Это хороший вопрос...

Р а д у ц к и й . И еще. По-моему ты противоречишь сам себе. С одной стороны, ты говоришь, что проблемы не в позиции арабских лидеров, а во взаимоотношениях простых людей. Но, с другой стороны, ты признаешь, что мирный договор заключат именно лидеры арабов и лидеры евреев.

Х а м а д . Ты знаешь, что для палестинцев проблема мира — это проблема представительства. Если я сейчас позвоню Шимону Пересу и скажу ему, что мы, сидящие здесь трое палестинцев решили начать переговоры о мире, знаешь, что он скажет мне? "А кого вы, собственно, представляете? Я — Шимон Перес — представляю Израиль, даже если не всем у меня в стране нравится это обстоятельство". Но у нас, у палестинцев, нет представительства, приемлемого для Израиля, поскольку Израиль не признает ООП. И позиция Израиля сразу становится весьма удобной: израильтяне не любят Арафата, и все контакты становятся бессмысленными.

Р а д у ц к и й . А ты любишь Арафата?

Х а м а д . Это не та проблема, которую следует выяснять: люблю ли я Арафата? Это не изменит ситуацию. Мои аргументы таковы: если Израиль не приемлет Арафата, то израильтянам следует предложить альтернативу. Набросаем примерную схему возможного хода событий. Кого бы израильтяне предпочли в качестве партнера на переговорах? Палестинские лидеры 50-60-х годов, по моему, просто политические трупы. На Западном берегу и в Газе набирают силу молодые лидеры. Это люди динамичные, получившие хорошее образование. И почему бы Израилю не начать переговоры с ними.

Р а д у ц к и й . Но в этом-то, Джамиль, и проблема: с кем вести переговоры. Бессмысленно вести переговоры с Арафатом, провозгласившим своей конечной целью уничтожение еврейского государства.

Х а м а д . А ты веришь в уничтожение Израиля?

Р а д у ц к и й . Конечно, нет. Но если лидеры палестинцев выдвинули цели, которые ни нас, ни вас не устраивают, то почему бы палестинцам не попытаться сменить лидеров? Я лично готов прислушаться к тем из них, которые публично признают право Израиля на существование.

Х а м а д . Ты не хочешь слушать об Арафате, и я не хочу говорить о нем. Арафат сейчас находится в Тунисе. Бессмысленно думать, что можно заключить мир с Арафатом... в Тунисе, разве что привлечь тунисского лидера Хабиба Бургибу.

Р а д у ц к и й . Но как же выбраться из конфликтной ситуации? ООП — вроде бы является представителем палестинцев, а это представительство для меня неприемлемо.

Х а м а д . Какой выход из тупика? Те, кто не хочет переговоров с Арафатом, должны предложить альтернативу.

Р а д у ц к и й . Но ведь это должны предложить палестинцы. Поскольку Арафат сидит в Тунисе, поскольку представлять палестинцев должен кто-то из их среды, пусть и выбирают представителей!

Х а м а д . Легко сказать: пусть выбирают. Ведь речь должна идти о демократических свободных выборах. Но военные законы, применяемые Израилем на Западном берегу, не позво-

ляют собраться даже и десяти палестинцам, И если бы у меня в доме только появилась бы группа политических лидеров, чтобы о чем-то договориться, то армейские власти тотчас арестовали бы всех нас.

Итак, начнем с того, что мы, палестинцы, лишены права политических собраний. Я лично не боюсь, чтобы все наши группировки: коммунисты, левые, социалисты, христианские демократы, даже "Мусульманские братья" — действовали на выборах легально. Ведь у вас, в Израиле, такое обилие партий и групп, что даже алфавита не хватает, чтобы получить по букве для каждого списка. Вы же не боитесь обилия партий, даже если результаты выборов парализуют политическую деятельность страны, как это случилось недавно. Так вот, пусть и у палестинцев будет такое же разнообразие. Я не говорю об основании государства, я не толкую об участии арабов в управлении Израилем. Нет, я говорю лишь о том, что пора бы Израилю дать палестинцам, живущим здесь, политические права. В вашей недавней истории случилось так, что правительство одной из стран отобрало у евреев все фундаментальные права и свободы. И произошла катастрофа. И если бы я был евреем, то считал бы, что мои моральные принципы подвергаются серьезной опасности, если мне приходится держать под военным и административным контролем полтора миллиона арабов.

Р а д у ц к и й. Ты можешь предложить прагматическое решение?

Х а м а д. Решение лишь одно: необходимо "поделить пирог". Эта земля и тебе и мне дана была Богом. Я верю в единого Бога как мусульманин, ты — как еврей. Но мой отец родился здесь, я вырос здесь. Скажи, куда мне идти? Куда? Я не верю, что отец наш Небесный дал тебе все, а мне ничего — ведь я тоже сын его.

Р а д у ц к и й. Попробуем вернуться в наше совсем недавнее прошлое. Когда ООН вынесла решение о разделе Эрец Исраэль, мы, евреи, приняли это решение, но арабы его отвергли. Так начался наш вооруженный конфликт.

Х а м а д. Друг мой, я хотел бы посоветовать тебе, как и

любому израильтянину, не начинать копаться в ошибках прошлого.

Р а д у ц к и й. Но ты признаешь, что арабское неприятие раздела было ошибкой?

Х а м а д. Это была фатальная ошибка! Чудовищная глупость! Мой народ допустил немало ошибок, но и вы, евреи, тоже наделали их.

Р а д у ц к и й. Ты готов назвать некоторые из таких ошибок...

Х а м а д. Прежде всего арабы сделали серьезную ошибку, когда отвергли в 1946 году "Комиссию 18-ти", созданную по решению ООН. В эту комиссию входили шесть евреев, шесть христиан и шесть арабов. В этой комиссии у нас было большинство, поскольку христиане, живущие здесь, никогда не идентифицировали себя только как христиане, а всегда подчеркивали, что принадлежат к арабскому миру. Евреи были меньшинством, но арабы сказали "нет".

Затем в 1947 году мы отказались от сотрудничества с королем Хуссейном и, наконец, в 1967 году мы сделали очередную ошибку. Арабы отвергли предложенные им принципы ведения переговоров, сформулированные после Шестидневной войны. И если бы эти принципы были приняты арабами, то вряд ли ты жил бы сегодня в Гило на южной окраине Иерусалима, всего в нескольких километрах от Бейт-Лехема.

Р а д у ц к и й. А каковы, по-твоему, ошибки евреев?

Х а м а д. Первая из них — это представление еврейских лидеров на заре сионизма о Палестине как о земле пустынной и необжитой. Поэтому, по их мнению, заселение Эрец Исраэль — дело простое: погрузи евреев на корабли и доставь их в Палестину.

Р а д у ц к и й. Это не совсем точно. Жаботинский так никогда не считал.

Х а м а д. Возможно. Но сегодня я хочу лишь подчеркнуть тот факт, что многие еврейские лидеры относились к арабскому населению Палестины как к постояльцам,

Вторая ошибка в том, что Бен-Гурион и Рабочее движение не считали проблему местных арабов особой локальной про-

блемой. Они "арабизировали" ее, считая, что это проблема всего арабского мира, превратив таким образом палестино-израильскую проблему в проблему арабо-израильскую.

Р а д у ц к и й. А третья еврейская ошибка?

Х а м а д. Третья ошибка — это израильская политика с позиции силы. Ливан — тому свидетельство. Ливанская война принесла страдания в каждый израильский дом, не решив ни одной проблемы. Знаешь почему силой Израиль ничего не добьется? Потому что Израиль — маленький островок, точка в арабском океане. Даже если все арабы Израиля скажут, что все они покидают Израиль, что Иудея и Самария, включая сектор Газы, свободны от арабов, проблемы Израиля еще далеки от решения. Многие евреи заблуждаются, считая, что Израиль может быть тем фактором, который "переделает" Ближний Восток по западному образцу. Это столь же нереально, как если бы я считал, что Ватикан должен превратиться в центр ислама, собор Святого Петра должен стать мечетью, а папа Римский будет отныне называться Ахмедом.

Р а д у ц к и й. По-моему, ты говоришь о прошлом. Сегодня ведь многое изменилось...

Х а м а д. Изменились прежде всего арабы. Мы были бедными и нищими. А сегодня арабские деньги — один из решающих политических факторов. Арабы "оседлали" самолет "Джамбо" и автомобиль "Роллс-Ройс". И если Израиль не примет это в расчет, конфликт может затянуться надолго.

Р а д у ц к и й. Я хотел бы теперь несколько уйти от политики и спросить тебя о твоих личных ощущениях. Ты — житель здешних мест. Расскажи, как ты живешь, с кем общаешься, что думаешь об израильской жизни.

Х а м а д. Израиль — очень демократическая страна и как журналист я обладаю большей свободой, чем мои коллеги в арабских странах. Я никогда не был ущемлен лишь потому, что я араб.

Впрочем, у меня есть и менее приятные переживания. В аэропортах Израиля и других стран мой багаж досматривается самым тщательным образом. Обычно я отделен от общего потока пассажиров, потому что я — "подозрительная лич-

ность". В Лондонском аэропорту, например, чиновник отделил меня от группы пассажиров и тщательно рылся в моем чемодане. Ведь я езжу за пределы Израиля лишь по "лессе-пассе", выданному мне Израилем, либо по своему иорданскому паспорту.

Р а д у ц к и й. Ну а что ты скажешь о каждодневной жизни арабского населения...

Х а м а д. Скажу прежде всего, что это клубок противоречий. Заметь, я меньше всего думаю о политике, я говорю об обыденной жизни. Совершенно очевидно, что материальное положение арабов на Западном берегу и в полосе Газы значительно улучшилось за последние 10-15 лет. Возрос и культурный уровень. Увы, этого, однако, далеко не достаточно. Появилось новое поколение. Недавно мне пришлось ехать со студенческим лидером одного из арабских университетов Западного берега. Разговорились. Мой попутчик оказался одним из крайних. Сразу же заявил, что он коммунист и что необходима вооруженная борьба с израильянами и что он презирает предателей и коллаборационистов. Я знал его семью. Они живут в лагере "Гейша", к югу от Иерусалима. Я спросил его: "Если ты требуешь смерти тех, кто сотрудничает с израильянами, то тогда и твоя мать должна быть уничтожена. Ведь она каждое утро едет на работу в Иерусалим. Что ж, и ей умирать от пули?" — На это ответа не последовало. И таких противоречий в нашей обыденной жизни множество. Отцы строят новые еврейские поселения в Иудее и Самарии, неплохо при этом зарабатывая. А дети твердят, что нужно карать смертью тех, кто сотрудничает с Израилем. Крикуны, поддерживающие ООП, мирно восседали в кафе в тот самый день, когда Арафат был изгнан из Триполи. Все было обычно, будто ничего не случилось.

Я бы на их месте для демонстрации солидарности с ООП просто заперся бы у себя дома. Я бы, участвуя в демонстрациях против израильских поселений, не положил бы ни одного камня в строительство новых еврейских домов. Но у арабов зачастую слова расходятся с делом, а личная выгода выше лозунгов. Впрочем, может, это и не так уж плохо.

Или вот еще случай. Муниципальный чиновник одного из арабских городов на Западном берегу пригласил меня на семейный праздник. Я знал этого человека, выглядевшего весьма непрезентабельно, носившего всегда потертую одежду. Но когда я приехал по указанному адресу, то увидел роскошную виллу, внутреннее убранство которой было под стать внешнему великолепию. Мы уединились, и я спросил моего знакомого: "Скажи честно, что бы ты выбрал, если бы тебе предоставили три возможности: палестинское государство, возвращение под иорданский контроль или "замораживание" ситуации?" Мой знакомый мялся, тянул с ответом, затем, пригубив стаканчик с коньяком "Наполеон", закурил сигару и, опустив глаза, сказал: "Честно? — Я бы предпочел, чтобы ничего не менялось. Я побывал под властью англичан до сорок восьмого года и знаю, что здесь будет, если к власти придет Арафат и его компания. Сегодня здесь порядок и все условия для процветания. Я лично всю жизнь работал каторжно и хорошо начал жить лишь тогда, когда израильтяне пришли на Западный берег. Они не давят меня, и я многое могу себе позволить. Посмотри, чего я достиг. Стоит ли бросать это все лишь за идею?"

Как видишь, в нашей жизни все перепуталось.

Р а д у ц к и й . А ты? Твоя позиция?

Х а м а д . Я не люблю чувствовать, что живу под властью оккупационного режима. Дело не в том, что это израильская оккупация. Я не делю оккупацию ни по национальному, ни по партийному признаку. Я не хочу оккупации ни "республиканской", ни "роялистской". И как я уже сказал, вам, израильтянам, нечего гордиться тем, что вы управляете полуторамиллионным арабским населением. У вас просто нет иного выхода, кроме согласия на раздел Палестины.

Р а д у ц к и й . И как ты предлагаешь поделить эту землю?

Х а м а д . Я считаю, что Западный берег и сектор Газы должны стать Национальным домом для палестинцев.

Р а д у ц к и й . Что это значит — "национальный дом"?

Х а м а д . А это значит, что я смогу с гордостью говорить:

я — палестинец. В моем метрическом свидетельстве записано: палестинец. В моем паспорте указано: иорданский гражданин. Я израильтянин в силу условий оккупации, и израильское Министерство внутренних дел выдало мне удостоверение личности. Но в то же время я — террорист для чиновников во всех аэропортах мира, которые проверяют меня с особой тщательностью. Я нуждаюсь в собственном личностном определении. Ты прибыл из России, но разве ты говоришь о себе, что ты — русский? Ты гордишься тем, что ты израильтянин, почему же и мне нельзя быть гордым тем обстоятельством, что я — палестинец. Евреи говорят, что у них исторические права на эту землю. Она обещана им Богом, а Моисей привел сюда евреев из Египта. Что ж, пожалуйста! Почему я должен это отрицать?! Но на этой земле родился Христос и отсюда пророк Мухаммед отправился на небо в свой замечательный полет. Разве ты это отрицаешь? Я нуждаюсь в самоопределении, и не хочу быть ни "арабом — жителем Святой земли", ни "арабом из Иудеи и Самарии". Я предпочитаю быть палестинцем.

Р а д у ц к и й . Но что это значит для тебя?

Х а м а д . Очень просто. Я хочу, чтобы мною управляла палестинская администрация, я хочу, чтобы меня судил палестинский суд, чтобы у меня был палестинский паспорт. Я хочу, чтобы у меня был свой свод законов, которые я обязуюсь не нарушать. Все это и означает самоуважение. Отцы наши до сих пор хранят паспорта, где сказано, что они палестинцы.

Р а д у ц к и й . Ну и что? Многие израильтяне хранят такие паспорта. Голда Меир сказала в свое время, что и у нее есть паспорт, где записано, что она палестинка. Но вернемся к реальности! Как ты представляешь образование Палестинского государства?

Х а м а д . Да не говорю я о государстве! Я говорю о Национальном доме, о личностном самоопределении.

Р а д у ц к и й . Но ведь я уже спрашивал тебя, что означает для тебя "Национальный дом"?

Х а м а д . Я хочу, чтобы во всем мире знали, что если я говорю, что Джамиль Хамад живет в Бейт-Лехеме, то он —

палестинец. Я не требую точно указать, что Бейт-Лехем входит в федерацию палестинцев с Израилем или является частью Иорданско-палестинской федерации. Я хочу лишь твердо знать, что Бейт-Лехем, в котором я живу, — является частью Национального дома.

Р а д у ц к и й . Но я не понимаю, как практически все это достигнуть, даже если Израиль признает все, что ты просишь. Знаешь ли ты сам, в какой форме воплотятся твои надежды? Мне лично ясно, что в Израиле идея палестинского государства вызывает серьезные опасения.

Х а м а д . Почему? Разве вы недостаточно сильны?

Р а д у ц к и й . Да не в этом дело. Просто такое лоскутное государство, которое расположилось бы на Западном берегу и в секторе Газы не просуществовало бы без посторонней помощи. Немедленно появятся русские, египтяне, иорданцы, саудовцы, — я не знаю кто — и наша безопасность будет под угрозой.

Х а м а д . Ты говоришь, что у такого крошечного государства нет возможности существовать самостоятельно. Но разве сам Израиль — не лучший пример обратному? Ведь по японским понятиям, Израиль просто не может существовать. Работников лишь одного японского концерна "Тошиба" больше, чем всех жителей Израиля. Гренада — государство. Нет смысла говорить о численности. И я говорю лишь о личностном самоопределении. Ты опасаясь, что русские придут вас захватить? Позволь тебя успокоить. Этой глупости русские никогда не сделают. Израиль — лакомый кусочек для России, и не потому что она хочет его захватить, а потому что без Израиля России нечего делать на Ближнем Востоке. Незачем посылать военных экспертов, некому продавать оружие, незачем снаряжать военных советников в Сирию, Йемен и другие страны.

Есть лишь одна страна, которая обрадуется, если вдруг Израиль перестанет существовать, — это Америка. Вот когда американцы вздохнут с облегчением и скажут: "Слава Богу, наконец-то мы избавились от этих еврейских попрошаек, ежегодно требующих у нас и деньги и оружие". А русские? Ес-

ли Израиль вдруг перестанет существовать, они выдумают "новый Израиль". Они заинтересованы в Израиле, даже если они поддерживают ООП, укрепляют сирийскую армию, вооружают другие арабские страны. Я иногда даже думаю, что русские заинтересованы в существовании Израиля более чем сами израильтяне.

Р а д у ц к и й . Любое урегулирование на Ближнем Востоке потребует от Израиля серьезных уступок, Я лично думаю, что пока арабские лидеры не отказались от попытки нас уничтожить, — всякий путь к компромиссу опасен.

Х а м а д . Я отвечу тебе просто. Пойди со мной на компромисс, но следи за мной в оба. Если ты заключишь мир со мной, и я буду счастлив — твои границы в безопасности. А кроме того, у Израиля есть достаточно средств, чтобы обеспечить свою безопасность. Есть и спутники, и самолеты, и станции слежения. Есть ЦАХАЛ, наконец! Израиль подписал мир с Египтом...

Р а д у ц к и й . Ты веришь в этот мир?

Х а м а д . Видишь ли, это все-таки не состояние войны. Мир — это долгий мучительный процесс. Это преодоление эмоций и вековых наслоений. Все это не уничтожишь росчерком пера. Прежде всего — подпиши мир, а уж тогда и начнется этот долгий процесс. Проверь меня ежесекундно, пока в один прекрасный день ты убедишься, что Джамиль хороший, верный, миролюбивый человек. А если ты захочешь вновь захватить Западный берег, то, думаю, для израильской армии это не представит серьезного труда. Но рискни — вдруг все будет хорошо!

Р а д у ц к и й . А если русские поставят на Западном берегу свои ракеты?

Х а м а д . Оставь ты этих русских! Вот тебе другой пример. Эйлат и Аккаба — близкие соседи. Из иорданского порта Аккаба до израильского Эйлата можно "добросить" камнем. Но разве кто-нибудь в Израиле говорит, что население Эйлата под угрозой? Даже Бегин этого не утверждал. Ведь известно, что через семь минут после того, как израильские самолеты поднялись в воздух с военной базы, они сбросили груз бомб

на иракский ядерный реактор. Что ж, если до Ирака всего семь минут полета, то для израильской безопасности следует захватить Ирак? Нет, твои аргументы и здесь не "работают". Скажу более, я — палестинец — залог твоей безопасности. И если у меня будет Национальный дом, то я предпочту, чтобы он был полностью демилитаризован. Я, друг мой, не люблю оружия, особенно танки...

Р а д у ц к и й . Но давай все-таки вернемся к твоей жизни, например, к твоему общению с израильтянами.

Х а м а д . У меня много израильских друзей. Я бываю в домах израильтян, они бывают у меня.

Часто я встречаюсь с израильскими политиками, с Пересом, Вайцманом. Судьба не раз сталкивала меня и с деятелями Ликуда. Мы не скрываем разногласий, но дружелюбие обычно берет верх.

Я знаю, что среди арабов есть люди, которые не поддерживают отношений с израильтянами. Большинство арабов боятся израильтян и не доверяют им. И это ваше счастье, что большинство арабов боятся израильтян, считают евреев "суперменами". Правда, это большинство считает, что израильтяне действуют по приказу всемирного сионистского подполья. Беда в том, что у арабов нет мужества критически оценивать факты.

Р а д у ц к и й . Но как же все-таки найти путь к взаимопониманию?

Х а м а д . Я хочу, чтобы жители Израиля приезжали в Иудею и Самарию не за хевронским стеклом и за дешевыми овощами, а чтобы изучать, общаться с палестинцами. В Иудее и Самарии израильтяне любят достопримечательностями, делают дешевые покупки, но никогда не замечают людей. Не надо во всем соглашаться с палестинцами, но надо попытаться их понять. Палестинцы — это не тот народ, который вы видите на экранах телевизоров. Знаешь, я беседовал с двенадцатилетней девочкой из лагеря беженцев "Гейша". Она сказала, что никогда не видела таких же, как она, израильских девочек. Солдаты и поселенцы — это и есть Израиль в ее представлении. Разве это не ужасно? Это — трагедия.

Р а д у ц к и й . Но ведь тебе же удалось наладить контакт-

ты с Израилем. Ты же нашел отклик в ответ на свою попытку понять израильтян.

Х а м а д . У меня бывают разные ощущения от встреч с израильтянами. Однажды я беседовал с офицером ЦАХАЛа. Он сказал мне: "Знаешь, я считаю, что мы, евреи, не созданы для того, чтобы управлять другим народом. У меня растет сын, и я со страхом жду, что он начнет задавать мне разные вопросы. Как мне сказать ему, что я занимался наведением порядка среди арабского населения Иудеи и Самарии".

Или вот другой случай. Одна еврейская женщина сказала моему израильскому другу, обменявшемуся со мной рукопожатием: "И тебе не стыдно пожимать руку этого террориста, этого грязного палестинца?!" И знаешь, я понимаю их обоих — и офицера и эту женщину. Конечно же, сказанное ею мне далеко не по вкусу. Но я понимаю, что у нее есть для этого основания. Мы, палестинцы, ничего не делаем, чтобы навести мосты. Десятки тысяч палестинцев работают в Израиле, неплохо зарабатывают, довольны каждодневной жизнью, а остальное их мало интересует. Впрочем, и среди евреев есть немало таких, которые не хотят иметь дело с арабами. А я говорю так: если не попытаться установить контакты, то пропасть между нами будет разрастаться.

Р а д у ц к и й . Джамиль, ты не раз называл себя "нетипичным" палестинцем. Что, по-твоему, делает тебя нетипичным?

Х а м а д . Если хочешь знать, причина проста: для меня Израиль — не святая девственница. Я знаю Израиль таким, каков он есть, я не боюсь израильтян, я встречаюсь с ними, беседую, спорю, соглашаюсь. В Библии и Коране написано, что евреи — избранный народ. Я спрашиваю себя: что это значит? Ведь я вижу, как и ты, как и другие израильтяне, — массу глупых вещей, укоренившихся в жизни израильского общества. Я знаю, что вы, израильтяне, наделали немало ошибок. Стоит лишь взглянуть на все, что происходит в израильской политике, и экономике, в этом пестром базаре идей, группировок, мнений, криков, обвинений, — чтобы почувствовать, как ты становишься ненормальным! Вы — люди, как и все, в этом

мире — со своими достоинствами и недостатками. И я никогда не примирюсь с арабской популярной поговоркой: "Хороший еврей — это мертвый еврей". Я доверяю многим израильтянам и знаю, что и они доверяют мне, несмотря на наши политические разногласия.

Когда я встречаюсь с честными, гордыми, открытыми израильтянами, я еще более укрепляюсь в своей мысли, что есть лишь две человеческие расы на земле: люди хорошие и люди плохие.

Р а д у ц к и й . Но тогда другой вопрос: как твое арабское окружение относится к тебе, "нетипичному" палестинцу?

Х а м а д . Некоторые из арабов подозревают меня (вот только в чем?), некоторые понимают мою позицию. Я же считаю, что моя нетипичность — это продукт моего самосознания. У меня есть лишь один критерий: вредна ли моя деятельность палестинскому народу или полезна. Я убежден, что приношу ему пользу, поскольку пытаюсь представить израильтянам "лицо" палестинской проблемы. Так я чувствую. И поэтому не жалея сил, использую все возможности для диалога с израильтянами. Я часто выступаю с лекциями в кибуцах, перед студентами. Я рад, что широкие слои израильтян меня хорошо принимают. Увы, я не говорю на иврите. Мой язык общения с израильтянами — английский.

Р а д у ц к и й . Бывали ли у тебя "сложные" отношения с твоей израильской аудиторией?

Х а м а д . Большей частью я встречаюсь с аудиторией, которая гостеприимна, хотя наших разногласий я не скрываю. Но был, например, случай, когда один из моих израильских слушателей, не согласившись со мной, швырнул в меня стулом. Я прекрасно понимаю, что такие эксцессы — составляющая "правил игры". Только не думай, что так бывает всегда. Это исключительный случай. А теперь я скажу тебе вещь, которую, может, приехавшим в Израиль недавно не просто понять. Мы — арабы Палестины унаследовали законы дружбы с евреями у наших отцов и дедов. Мой покойный отец, который был изгнан из своей деревни в войну сорок восьмого года, — ни малейшей ненависти к евреям не питал. Он часто

говорил: "Война есть война, это паршивое дело!" Я часто думаю: до чего же наши народы похожи! Я не верю в "чистую палестинскую кровь", как не верю в чистую еврейскую. Ведь после разрушения Второго Храма лишь часть евреев была согнана с этих земель, а многие остались...

В одном арабском селении, неподалеку от городка Модин, — родины легендарных Маккавеев, есть обычай на праздник Ханукка зажигать свечи. Кто знает, может быть, эти арабы, — потомки древнего еврейского населения Израиля? Мы — евреи и арабы — дети Ближнего Востока, нам здесь жить, нам решать свои проблемы и признавать свои ошибки.

Увы, на Ближнем Востоке признавать свои ошибки не любит никто. Ни евреи, ни арабы! Мы — полубоги, ошибок не делаем, мы — самые умные, мы — всегда правы. И это общая черта евреев и арабов, на мой взгляд, вырастает в серьезное препятствие в вопросе урегулирования наших отношений.

Р а д у ц к и й . Ты упомянул о своих контактах с Пересом и Вайцманом. Встречался ли ты с ними во время последней предвыборной кампании?

Х а м а д . Незадолго до дня выборов, помню, Перес сказал мне: "Я получу на пятнадцать мандатов больше, чем Ликуд". Я посоветовал ему "спуститься с облаков": "Г-н Перес, Вы плохо знаете израильтян, и результаты выборов вас сильно разочаруют". Перес махнул рукой. Вайцман при встрече со мной уверял, что получит пять-семь мест в новом Кнессете. А поскольку с Эзрой Вайцманом мы давние знакомые, то я с улыбкой заметил: "Что ж, вам, как пилоту, и положено витать в облаках".

Р а д у ц к и й . Похоже, ты неплохо предвидел результаты выборов, которые и для израильтян оказались неожиданностью.

Х а м а д . О, это смешная история. В пресс-центре мы — коллеги-журналисты, израильские и арабские, решили сделать письменные прогнозы, чтобы позже определить, кто же из журналистов оказался провидцем, И что же? — Я занял первое место примерно среди сотни журналистов. Мой прогноз на 85 процентов совпал с результатами.

Р а д у ц к и й . Предсказал ли ты, что рав Каханэ пройдет в Кнессет?

Х а м а д . Да!

Р а д у ц к и й . И как ты это расцениваешь?

Х а м а д . Видишь ли, я лично не боюсь этого человека. Я даже, как бы это сказать, рад, что Каханэ в Кнессете. Это — предупреждение евреям. Это заставит их задуматься, ибо они ведь н и к о г д а не ставили своей целью уничтожать другие народы. Я лично готов, чтобы Каханэ начал со мной бороться. Но если вы, евреи, промолчите, то уж это — ваша проблема!

Р а д у ц к и й . А с кем из лидеров Ликуда тебе приходилось встречаться?

Х а м а д . Однажды в Риме, на симпозиуме, организованном итальянскими либералами, я сидел рядом с министром Ицхаком Модаи — главой Либеральной партии Израиля, входящей в Ликуд. Помню, поднялся лорд Мехью, престарелый деятель английского либерального движения, и заявил, что он не понимает, как я, Джамиль Хамад, могу сидеть рядом с министром израильского правительства, применившего репрессии к палестинцам. Тогда, обратившись к Мехью, я сказал: "Сэр, не вы должны преподавать мне уроки чести, достоинства и мужества. Вы в свое время занимали один из самых высоких постов в английской администрации времен оккупации Палестины. И мне точно известно, как жестоко вы расправлялись с арабскими крестьянами за несвоевременный подвоз фуража для английской кавалерии. Английская администрация, уходя из Палестины в сорок восьмом году, сделала все, чтобы углубить арабо-еврейский конфликт. Подумайте об этом, когда вы льете слезы по поводу страданий палестинцев".

Позже, за ужином, Модаи, улыбаясь, сказал мне: "Просто не понимаю, почему этот глупец Арафат не назначит вас ответственным за разъяснительную работу". Я ответил ему тоже с улыбкой: "Быть может, Арафат не так уж глуп. Ведь если бы я был у него на службе то уж наверняка не смог бы беседовать с министром Модаи".

Р а д у ц к и й . Что же, — все твои зарубежные поездки проходят так гладко?..

Х а м а д . Бывают случаи похуже. Однажды один немецкий министр, выступая на банкете, говорил о "страданиях палестинцев", обвиняя во всем евреев. Он ни разу не сказал "Израиль". В его речи то и дело звучало слово "евреи". Я встал и сказал, что не могу присутствовать в зале, где звучит антисемитская пропаганда. "Ваша речь, — сказал я этому министру, — это выражение ненависти к евреям. Вы ненавидите евреев, — это Ваше дело. Но не пытайтесь раздувать антисемитскую пропаганду за счет палестинцев, которые, судя по всему, вам безразличны". С этими словами я вышел из зала...

Р а д у ц к и й . Мой последний вопрос. Каким тебе видится завтрашний день на Ближнем Востоке?

Х а м а д . Я не пророк. Ближний Восток — это Ближний Восток, и здесь, как нигде в мире, одна пуля может круто повернуть ход событий. Вдруг завтра мы с тобой услышим, как в такой-то из арабских стран выстрел поразил одного из лидеров. Такой случай может все изменить. У нас на Ближнем Востоке часто случаются эти "вдруг". Вдруг завтра снова поднимутся цены на нефть? Вдруг... Вдруг...

Лишь одно я могу предсказать с уверенностью: курс израильской валюты з а в т р а снова опустится. А уж что случится с израильским шекелем послезавтра — сказать не берусь. И поскольку мы беседуем в канун субботы, то позволю мне закончить традиционным еврейским пожеланием: "Шаббат шалом!"



В этом номере мы публикуем воспоминания Арона Каценелинбойгена — в прошлом крупного советского экономиста, а ныне профессора и руководителя одной из ведущих кафедр Пенсильванского университета. Публикуя свои мемуары под заголовком "Повесть о еврейском фаворите", автор снабжает их не менее многозначительным, хотя и полным сарказма подзаголовком "Арон Каценелинбойген — это звучит гордо", показывая, чего на самом деле в условиях государственного антисемитизма стоят советские гуманистические девизы.

Арон КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН

ПОВЕСТЬ О ЕВРЕЙСКОМ ФАВОРИТЕ,

или Арон Каценелинбойген — это звучит гордо

Эти записки я хотел бы начать с некоего постороннего разговора, который в присутствии одного моего знакомого произошел между двумя советскими учеными. Разговор касался евреев, темы, обычно не обсуждаемой вслух в среде научной элиты. Но на этот раз собеседники были не столько ученые, сколько руководители — оба возглавляли академические институты — и их легкая светская беседа о евреях была на самом деле разговором двух бывалых функционеров.

Разговор этот, по словам моего знакомого, произошел в кабинете директора ЦЭМИ академика Федоренко (который многие годы был моим шефом) и завел его директор другого НИИ, такого же, как наш. В отличие от преуспевающего Федоренко, чей институт известен был своими многочисленными работами и находился в фаворе у ЦК, его коллега ничем подобным похвастать не мог. "Понимаешь, за что ни беремся, ничего не идет, — жаловался он. — План научных работ срываем, идей никаких, отделы зашиваются..." И вот, выслу-

шав все это, Федоренко, эдак снисходительно улыбнулся и сказал: "А ты возьми пять евреев, назначь их заведующими отделами и горя знать не будешь". Кажется, разговор на том не закончился. Коллега Федоренко стал вслух выражать опасения, что де евреев не пропустит ему райком и что вообще за них по шапке могут дать. "Ну, знаешь ли, — все с той же улыбкой парировал директор ЦЭМИ — какие-то невзгоды всегда нужно терпеть. Ну, высыпят тебе в райкоме. Зато твой институт будет на высоте".

Советская жизнь так уж устроена, что из одного ненароком услышанного разговора, порой, можно узнать больше, чем из собранных за годы подшивок газет.

На первый взгляд, наши функционеры от науки говорили лишь о том, как лучше сделать карьеру. На самом деле они коснулись весьма любопытного и не столь часто обсуждаемого феномена — места евреев в советской науке. Я бы даже сказал шире: места евреев в советской социальной иерархии. Как это ни странно, но обсуждая постоянно тему советского антисемитизма, мы часто отдаляемся от понимания их реальной роли в обществе. Если советские евреи — лишь, так сказать, объект ненависти власть предержащих, то отчего и по сей день многие из них поднимаются на самые высшие ступени иерархии, какие бы области мы ни взяли — науку, искусство, промышленность и даже государственное управление. Стародавнее понятие "ученый еврей при губернаторе" применимо и к советской жизни. Да, мы говорим о еврейских фаворитах, которых сверху донизу приближают к себе большие и малые советские правители.

Этот феномен, который я определил бы как еврейский фаворитизм, определяется, с одной стороны, талантом евреев, их деловыми и профессиональными качествами, а с другой — что не менее важно! — их лояльностью к правителям. Еврей не будет подсиживать начальника. У него все равно нет шансов вырваться наверх. Максимум на что он может рассчитывать, — это по возможности дольше остаться фаворитом.

Но положение такого фаворита в советской иерархии всегда шатко и подвержено многим и часто неожиданным коле-

баниям. Думаю, что почти любой из еврейских фаворитов, нередко отдавший все силы, энергию и мозги правителю, рано или поздно уподобляется мавру, который, сделав свое дело, может убираться восвояси. Собственно, здесь действует так называемая система "ПУ-ПУ", о которой я еще буду говорить и чье игровое, шуточное наименование находится в полном противоречии с ее антигуманной, зловещей сутью. Согласно этой системе я и сам был довольно высоко вознесен в советской научной иерархии, возглавляя многие годы ведущий отдел ведущего экономического института страны. Я причислял себя к высшим научным кругам и вместе с группой коллег лелеял идею перестроить, основываясь на математическом анализе, экономику страны. Оглядываясь назад, я прихожу к выводу, сколь многие годы находился в плену иллюзий. И касались они не только объективно неосуществимых в СССР идей, но и моей личной судьбы. Я полагал себя одним из капитанов экономической науки, но, как понял позднее, был лишь фаворитом-временщиком у тех, кто реально ею командовал.

Могут сказать, что прозрение могло бы прийти и раньше. К сожалению, в эмиграции это довольно распространено: судить о фактах и событиях прошлого с позиций сегодняшнего дня, кого-то обвинять, кому-то выдавать индульгенции. Похвально само по себе стремление переосмыслить прошлое, но, увы, бесплодна попытка что-то понять вне потока жизни, вне хода истории. Бессмысленно выяснять, кто, когда и чем занимался, игнорируя время и место действия. Из такого анализа вряд ли может получиться что-то путное, кроме надуманных схем и нелепых спекуляций.

В РОЛИ ЮНОГО ГИЗО

После этого несколько затянувшегося вступления я надеюсь, что читателю не покажется столь странным, что, окончив Московский экономический институт в 18 лет и полагая себя великолепно подкованным экономистом, я рвался изо всех сил в аспирантуру.

Это был 1946 год, когда великий Сталин уже успел поднять тост за великий русский народ и в стране повеяло новым духом. В свете этих новых веяний ученый совет МГЭИ вряд ли горел жадой пополнить кадры аспирантуры абитуриентом с фамилией Каценелинбойген.

Многое зависело от того, как я сдам государственные экзамены. Принимал экзамен весь святой синклит, с участием начальника Управления экономических вузов Министерства высшего образования и возглавляемый известным в те годы экономистом профессором Борисом Львовичем Маркусом. Вытащив билет с вопросом о монополиях и конкуренции, я понимал, что просто изложить Ленина в создавшихся обстоятельствах для меня отнюдь не достаточно. Я обязан блеснуть, показать комиссии, что перед ними незаурядный научный ум. Сейчас, разумеется, это все звучит, как анекдот. Но тогда мне, рвавшемуся в храм науки, было отнюдь не до смеха. Начал я, конечно, с того, что утверждение Ленина о слиянии промышленного и банковского капитала было исключительно глубоким и содержательным. Но мне кажется, что в новых условиях было бы правильным его несколько расширить, добавив к промышленному капиталу транспортный и торговый. В этом свете мы сможем глубже увидеть, как развивается конкурентное начало в условиях монополий. Такой ответ в 1946 году в экономическом институте был совершенно необычен. Сразу же после экзамена профессор Маркус попросил меня позвонить ему по телефону, чтобы договориться о теме докторской диссертации. По-видимому, кандидатскую такому зрелому экономисту, как я, писать вообще было не нужно.

Между тем дух русского шовинизма густой пеленой окутывал сталинскую Россию. Чем дальше тем явственнее это чувствовалось. Каждый месяц приносил что-то новое. И август-сентябрь 1946 года уже чем-то неуловимо-зловещим отличался от мая.

В мае я сдавал госэкзамены, а в августе или начале сентября, точно не помню, мою кандидатуру в аспирантуру должны были утверждать на Ученом Совете. И вот тут-то и стали под-

ниматься один за другим члены Совета и заявлять, что они не считают целесообразным принимать в аспирантуру Каценелинбойгена по причине его молодости.

Позднее жизнь приучила меня понимать, что все мотивировки отказов, которые я когда-либо получал, не имели смысла и были более или менее удачно выдуманы. Единственная реальная причина никогда не называлась.

Но в тот раз накалившуюся атмосферу собрания разрядило остроумное выступление преподавателя кафедры народного хозяйства Исаяи Соломоновича Бака. Он, можно сказать, меня и спас.

Исайя Соломонович Бак был человеком блестящим. Кроме того, он был представителем плеяды тех старых профессоров, для которых превыше всего было понятие научной чести. Так вот, Бак сказал следующее: "Насколько мне известно, — а я по профессии историк, — когда молодой Франсуа Гизо был удостоен золотой медали французской академии за свои работы по истории Франции, это вызвало в научных кругах бурю возмущения. До сих пор этой медали удостаивались лишь седобородые и бессмертные, составлявшие цвет академии. Один из таких "бессмертных" поднялся и открыто заявил, что он возмущен решением присудить золотую медаль такому молодому ученому. После этого взял слово сам Гизо: "Да, — сказал он, — я испытываю глубокую вину за свою молодость, но я торжественно обещаю, что со временем я избавлюсь от этого порока".

Профессор Бак сел, а в зале поднялся одобрительный шумок, раздался смех. Напряжение спало, и мою кандидатуру утвердили в аспирантуру.

История Исаяи Соломоновича Бака трагична. Как я уже сказал, Бак был ученым старой формации. Он не был ничьим фаворитом и не имел высокостоящих покровителей. Своей славой он был обязан только самому себе. Когда началась кампания по борьбе с космополитизмом, Бак стал одной из ее первых жертв: ученого с мировым именем обвинили в преклонении перед Западом, поскольку Бак осмелился утверждать, что изобретение паровой машины принадлежит

Джеймсу Уатту, а не Ползунову. Ученый был уволен из института и, затравленный, он покончил с собой, бросившись в пролет лестницы.

ПЕРВАЯ ЛОЖКА ДЕГТЯ

В 46-м году, когда я поступал в аспирантуру, еще что-то значили знания, точка зрения, идеи. Когда же я заканчивал аспирантуру, в 49-м году, ученый мир уже полностью захлестнула серость, а шовинистический угар и антисемитизм достигли своего апогея. В Московском экономическом институте мне попросту не дали защитить диссертацию, хотя работа моя "Создание постоянных кадров в угольной промышленности на примере Подмосковья" была рекомендована самим директором. Он говорил, что тема эта приблизит меня к практике. Но теперь никто не упоминал ни о темах, ни о Гизо, ни о моем возрасте.

Меня пригласил парторг. Я знал его еще под именем Петьки Шаповалова. Он был моим однокашником по институту. Среди студентов он если и отличался чем-то, то только своей серостью. Но теперь он, по-видимому, чувствовал, что пришло его время. Он не стал церемониться в разговоре со мной. Без обиняков он прямо сказал: "Ищи себе другое место. У нас диссертацию ты защищать не будешь!" Тайное злорадство было в его холодном взгляде и видно было, что ему очень хотелось добавить: "А то ты сам не понимаешь, что с такой, как у тебя фамилией, в науке нечего делать!"

Что я должен был предпринять в этих обстоятельствах, обладая хоть толикой здравого смысла? Послать все подальше: институт, советскую экономику, диссертацию? Начать новую жизнь?

Можно без конца заниматься спекуляциями, налагая опыт пережитого на иллюзии молодости. Я не стану этим заниматься, я пишу о той жизни, которую прожил, и могу лишь рассматривать ее в обстоятельствах тех лет. Любой другой под-

ход будет нечестным и неискренним — так мне, по крайней мере, кажется. А в обстоятельствах тех лет меня определенно притягивала наука. По складу мышления я уже тогда ощущал себя ученым. Конечно, я отдавал себе отчет, чего стоила моя диссертация об этих самых кадрах угольного бассейна. Но я знал и другое: чтобы иметь возможность посвятить себя науке, надо идти на жертвы. Нужно было терпеть — и таких, как Петька Шаповалов, и многое другое. Кстати, эту готовность к жертвенности я и по сей день считаю важным качеством ученого.

В те годы экономика была полна для меня неисследованных глубин, то была некая почти романтическая страсть к познанию. И прежде всего к познанию теории. Меня занимали законы стоимости при социализме и то, как образуются цены, и как все это соотносится с экономической теорией Маркса. Я днями просиживал в "Ленинке" и постепенно ощущал, как во мне просыпается тяга все это "пощупать" в жизни — цены, закон стоимости... Так возникла мысль пойти на завод — вначале я поступил на Московский "Калибр", затем перевелся на "Фрезер". Но перед "Фрезером" я угодил в Челябинск. Меня, конечно, тянула теория, наука, но жизнь все решала по-своему.

Если вы, читатель, пережили это чудное времечко — 49-53-й годы, — вам нетрудно представить, каково приходилось мне с моим именем и фамилией пробиваться в науку. "Человек — это звучит гордо", — говорили в этой стране, но Арон Каценелинбойген, как вы понимаете, звучало не слишком гордо. Я ходил из института в институт, и везде слышал одно "нет". Иногда придумывались отговорки, а чаще себя не утруждали даже этим. Я написал один текст диссертации, затем другой -- но кого они интересовали? Я пытался связать свои темы с производством, но кому это надо было?

Теперь, спустя много лет, я поражаюсь одному: какой запас наивности и упрямства надо было иметь, чтобы пытаться пробить лбом эту стену.

Одно время я заладил писать жалобы в ЦК — что вот де я

горю желанием двинуть экономическую науку, а мне не дают. У меня даже появился там свой куратор, некий инструктор Горюхов, который отфутболивал меня по разным институтам. Он был по-отцовски нежен, но туда, куда он меня посылал, знали, что к чему. В МГЭИ, куда он меня однажды отфутболил, текст моей диссертации о материальном стимулировании в промышленности держали год, пока не пришел разгромный отзыв зав. кафедрой Григорьева. После последней моей жалобы — а дело было в 1952 году — Горюхов был особенно нежен: "Видите ли, товарищ Каценелинбойген, мы тут, понимаете, все посмотрели, взвесили. Я хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли. В общем, к сожалению, мы вам ничем помочь не можем". Это было все, что я пожал за три года хождений.

КАК Я ИЗНУТРИ ВЗРЫВАЛ ЗИС

Но перед тем как продолжить, хочу рассказать еще об одном событии, восстанавливающем атмосферу тех дней. Сейчас в это трудно поверить, но именно в те дни я был обвинен в попытке взорвать изнутри завод имени Сталина. Вспоминая это, я едва сдерживаю улыбку. Но это был пятьдесят второй год, когда подвалы Лубянки и Лефортово, как некогда — в тридцать седьмом — снова были набиты "международными террористами", "анархистами", фантастически уцелевшими "меньшевистско-эсеровскими лидерами", готовившими убийство вождя народов. Вот в какое время надо мной нависло это малоприятное обвинение. А причиной всему опять же явилось мое неукротимое стремление приблизить свою работу к практике.

Прежде чем представить на соискание ученой степени свою вторую диссертацию, я решил заручиться отзывами ряда предприятий. Один из таких отзывов я решил получить на ЗИЛе, тогда он назывался ЗИСом — заводом имени Сталина. Но как попасть на ЗИС? С "Фрезера" я ушел, потому что

никакой перспективы для научной работы больше здесь не видел. Другого места найти не мог, а безработного, да еще еврея, разумеется, на ЗИС никто не пустит. Тогда я решил, что начну заниматься лекционной деятельностью. С одной стороны, появится возможность каких-то заработков, а с другой — получу через МК комсомола возможность попасть на завод имени Сталина.

Я попросил заведующего лекционным бюро московского комитета ВЛКСМ позвонить комсorghу на ЗИСе Борису Демьянову, что дескать есть такой лектор Арон Каценелинбойген, который интересуется вопросами труда и зарплаты. Нельзя ли, чтобы он встретился с сотрудниками отдела труда и зарплаты? Выслушав все это, Борис Демьянов дал согласие, и вскоре я получил возможность побывать в отделе труда и побеседовать с заведующим сектором зарплаты. Мы довольно долго и обстоятельно говорили, а напротив, за столом, сидел инженер по соцсоревнованию, некий Валерий Белкин, человек, сыгравший зловещую роль во всей этой истории. "Хорошо, — сказал в заключение зав.сектором зарплаты, — оставьте ваш проект, мы его посмотрим и примерно через неделю скажем свое мнение".

Проходит дня три-четыре. Являюсь я в МК комсомола, встречает меня заведующий студенческим отделом некий Горб — я запомнил его фамилию, такой высокий, красивый парень — и говорит: "Что это вы там на ЗИСе написали? Нам звонили работники отдела труда и зарплаты и сказали, что это настоящая антисоветчина!"

Откровенно говоря, слова эти не вызвали у меня прилива энтузиазма. Взяв себя в руки, я попросил лишь об одном, чтобы меня еще раз пропустили на завод и дали возможность во всем разобраться на месте. Такую возможность мне дали. Как выяснилось, моя антисоветчина состояла в следующем.

Я прошу у читателя извинения, но я должен рассказать об этом подробно, уж слишком хорошо все это воссоздает эпоху.

Так вот, в своей работе я написал, что современные формы организации труда при соблюдении соответствующих условий

требуют объединения работы оператора и наладчика. Это позволит повысить производительность, однако встает вопрос, об оплате труда. Мои рассуждения и явились основанием для обвинения в стремлении "взорвать ЗИС изнутри", оставив его без наладчиков. Краем уха я уже слышал, как некая группа злоумышленников пыталась это сделать. Но по-настоящему смысл этого обвинения мне объяснил бывший начальник планового отдела завода "Динамо" Борис Ефимович Пельцман, которого самого арестовали в 1948 году по обвинению в попытке взорвать изнутри завод "Динамо". Два приглашенных эксперта дали заключение, что Пельцман намеренно создавал на предприятии ложные пропорции между заготовительными и сборочными цехами.

Позже о подобном же деле мне рассказал мой коллега по институту экономики Арон Исаакович Шустер. Его жена — чья фамилия была Кантор — была тоже по профессии экономист и работала на ЗИСе. Ее обвинили в том, что она распределяла премии таким образом, что львиная их доля доставалась начальникам цехов евреям и таким образом пыталась посеять на заводе национальную рознь.

В общем, дело завертелось. С ЗИСа позвонили в МК комсомола, в отдел рабочей молодежи, и поставили вопрос в лоб: "Что это за лектор Каценелинбойген у вас появился, антисоветчик!"

Не знаю, чем бы закончилась эта история, если бы не вмешался тогдашний зав. лекторской группы МК комсомола, который оказался в высшей степени порядочным человеком. Помню, прямо при мне он позвонил некому Чеснокову, заведующему сектором тяжелой промышленности обкома партии и рассказал, что у них в горкоме есть лектор (он умышленно не называл моей фамилии), у которого такие-то и такие интересные идеи. Каково, мол, ваше мнение? И тот так осторожно отвечает: "Что ж, вообще-то разумно. Хотя, может, и не своевременно (это он на всякий случай горит), но разумно!"

На другой день зав лекторской группой звонит Демьянову и говорит: "У нас тут есть лектор, написал работу, я слышал у вас там с ним какие-то недоразумения?" Тот отвеча-

ет: "Ну, как же! Это же чистой воды антисоветчина!" А зав. лекторской группой продолжает: "Я познакомился с его работой и посоветовался с товарищами из МК. Они сказали, что мысли любопытные, но несвоевременные. Может, ваши товарищи просто перегнули? Знаешь, приходит молодой парень, предлагает что-то, а они в штыки? Ты, Боря, сам возьми, прочитай работу, стоит того, и составь свое мнение".

Не знаю, как там дальше развивались события, но дело было прекращено.

Позже я узнал подноготную этой истории. Читателю уже встречалось имя Валерия Белкина, инженера по соревнованию, который присутствовал при разговоре в отделе труда. Оказывается, этот парень был всего-навсего сыном прокурора города Москвы Белкина. Историю, которую я хочу в связи с этим рассказать, можно назвать "Повесть о Белкиных".

Дело в том, что в ней фигурирует еще один Белкин, Витя Белкин. Впоследствии он стал моим хорошим знакомым и рассказал о том, что произошло за кулисами. Оба Белкина в тот год заочно кончали экономический институт и даже вместе готовились к экзаменам. И вот один Белкин — Валерий, сын прокурора — поучал другого Белкина — Виктора, как надо жить на свете.

А жить надо так: всегда есть люди, которым нужен ты, и есть люди, которые нужны тебе. Действовать надо просто: всегда приносить в жертву тем, кто нужен тебе, тех, кому нужен ты. "Хочешь хороший примерчик? — продолжал Валерий, — Пришел к нам на завод один парень, Арон Каценелинбойген, принес свою работу и хотелось ему получить от нас добро. А я решил: "Э, нет!" И сразу же позвонил куда нужно и сказал кому нужно, ну, в общем заложил его. Заложил тем, кто нужен мне. И что ты думаешь, не заметили? Заметили и выдвинули..."

Валерий Белкин безошибочно нащупал принципы той жизни. Он быстро поднимался по служебной лестнице: стал секретарем райкома комсомола, затем помощником Кагановича, который возглавил комитет по труду. А когда Кагановича

сняли, то и Белкина понизили, назначили в институт труда. И оттуда он приглашал меня на работу, хотел переманить из института экономики. Но на этот раз уже говорил со мной в высшей степени почтительно. Я уже становился фаворитом большого руководства, а он знал, что с такими людьми лучше не ссориться. Словом, я уже был не из тех, кому нужен был он, а из тех, кто был нужен ему.

В НОЧЬ НА 14-е ЯНВАРЯ 1953 ГОДА

Теперь мне хотелось бы рассказать об одной переломной в моей жизни ночи. История эта связана с профессором Клименко. Началось с того, что я написал статью в журнал "Вестник машиностроения" с изложением некоторых своих идей. Пришел туда с улицы, и шансов напечататься да еще под именем Арон Каценелинбойген, было, прямо скажем, немного. Статья попала к заведующему отделом экономики некому Теодору Давидовичу Саксаганскому. Он прочитал и сказал: "Очень хорошо!" И тут же без обиняков добавил: "Но нужна еще одна подпись — хорошо бы начальника цеха завода "Калибр". Без этого ничего не выйдет". Я пошел на "Калибр" и там без особого труда нашел себе соавтора — начальника цеха микрометров. После этого все пошло как по маслу.

Статья вышла в свет в сентябре 1950 года и сразу же была замечена. Саксаганского даже похвалили в ЦК, и с тех пор он расположился ко мне. А между прочим, он работал не только в "Вестнике", но и в Машгизе, где был заведующим экономической редакции. К тому времени у меня уже была подготовлена книга, и я ее отнес Саксаганскому в Машгиз. Сказать "нет" у него не хватало духу. Сказать "да" не хватало храбрости. И он принял соломоново решение: "Девайте, Арончик, разошлем вашу работу шести рецензентам, а там будет видно".

На дворе уже стоял 52-й год. Но что любопытно, эпоха отнюдь не всегда влияла на рецензентов. По крайней мере, пер-

вые двое, и оба русские: Кабанов — начальник отдела Перво-го подшипникового завода, и Гольцов, заведующий отделом труда одного из машиностроительных министерств — дали положительные рецензии. Но Саксаганский сказал, что этого мало, что нужны отзывы ученых. "Вот послали мы в Институт экономики — Клименко, Константину Ивановичу, а он не отвечает, молчит. Пойдите к нему сами, попросите, знаете, так, не очень официально. Может, он сделает".

Клименко я разыскал 6 января 1953 года. Как станет ясно, дата эта существенна. Вначале Клименко сказал, что моя работа не по его тематике. А потом попросил объяснить устно ее суть. Когда я закончил, Клименко воскликнул: "Великолепно! Я с удовольствием напишу отзыв. Приходите через недельку; тринадцатого января, вечером, часов в десять, прямо домой".

И вот надо же, чтобы именно в этот день, 13 января, в газетах появилось сообщение о врачах-убийцах. Первая мысль — вообще не идти к Клименко. А потом подумал: а что, собственно, я теряю? Позвонил ему, как договорились, около 10-ти вечера — он жил на Покровке. По его голосу я почувствовал, что он словно бы ждал моего звонка: "Приходите! Конечно же приходите!"

Он написал мне потрясающий отзыв, состоящий из одних дифирамбов, затем сели за стол, пьем чай. И вдруг он начинает говорить о Сталине. Сталин разоряет страну и убивает невинных людей. Затем он почему-то перешел к расстрелу Блюхера и еще к каким-то сталинским делам. А я сижу и не верю своим ушам. Такого я еще никогда не слышал. И в такой день. Я понимал, конечно, что это не провокация. Это было непередаваемое потрясение.

Между тем надвигалась ночь. Я жил в Перове, под Москвой и просто не представлял себе, как буду добираться. Денег, чтобы взять такси, не было. Я уже долгое время сидел без работы. Последняя электричка уходила что-то около часа. Полпервого я поднялся, поблагодарил хозяина и начал прощаться. И вдруг из другой комнаты выходит жена Константина Ивановича, в девичестве Лахтина, как позже я узнал, из

старых русских аристократов. Ее тетка, между прочим, была любовницей Распутина.)

Константин Иванович познакомил нас. И она вдруг спрашивает: "Молодой человек, а как вы относитесь к сегодняшнему сообщению о врачах?" Я совершенно искренне отвечаю: "У каждого народа есть свои подлецы, но народ за них не в ответе!.." — "Молодой человек! О чем вы говорите?! Сколько вам лет? Это же очередная провокация Сталина".

И вот тут-то Константин Иванович только разошелся. Все сказанное перед этим было только прелюдией. "За это ли, — говорит, — сражался я на баррикадах? Или когда мы громили "черную сотню" в Самаре? За возрождение всей этой мрази?!"

Мы простояли так до полвторого или до двух ночи. Домой, в Перово, я шел пешком, километров пятнадцать, семнадцать. Как шел и какими дорогами — не помню. Полный провал в памяти, настолько я был потрясен.

С Клименко мы очень подружились. Бывало целыми вечерами просиживали за его любимой вишневкой. Константин Иванович помог опубликовать мне первую мою книгу. Она и стала третьей диссертацией: "Автоматизация производства и организация труда".

С книгой тоже любопытно вышло. Саксаганский, как всегда, чтобы себя обезопасить, попросил найти соавтора. И сам же порекомендовал профессора Клименко. Константин Иванович согласился. Но когда рукопись прошла все инстанции, написал в Машгиз письмо с просьбой снять его фамилию, так как подлинный автор не он, а я, Арон Каценелинбойген. Так и вышла эта книга только под моей фамилией. А Константин Иванович был автором предисловия.

Уже много позже, сидя, как всегда, за вишневкой, я ему говорил: "Вы очень много для меня сделали — помогли опубликовать книгу, устроиться в Институт экономики (к тому времени я уже стал там научным сотрудником), но ничто я не могу сравнить с той ночью, 14 января 1953 года".

О КАНТОРОВИЧЕ И НАШИХ РЕФОРМАТОРАХ

Да, это был переворот в моем сознании. Я бы сказал в политическом сознании. В науке же я еще довольно долго не мог выбраться из сферы тривиальных экономических идей. Даже после того как перешел в Институт экономики Академии наук и написал три книги.

Перелом в моем научном мышлении произошел в 1957 году, когда к нам в институт приехал Канторович. Он сделал доклад с изложением своих идей оптимального планирования, после которого я понял, что дальше работать так, как в прошлом, я уже не смогу.

На доклад Канторовича, за идеи которого он получил Нобелевскую премию, пришло, кажется четыре или пять человек. И он сам, и то, что он говорил, выглядело довольно странно. Возможно, его даже приняли за одного из "реформаторов", которые денно и ночно штурмовали Институт экономики, посылая сюда свои проекты. Рискуя отвлечься, я позволю себе немного подробнее об этом рассказать. Слишком много времени и сил у нас отнимали эти сумасшедшие.

Итак, наш институт был цитаделью советской экономической науки. И не только потому, что он получал задания от самого ЦК. В те дни я предложил метод объективного измерения важности института: по количеству писем и проектов, получаемых от сумасшедших. Институт экономики по сравнению с другими получал больше всего таких писем. Их авторы решали только кардинальные проблемы, и при этом раз и навсегда.

Один реформатор из Вольска прислал на трех страницах некую универсальную математическую формулу. Если по ней строить экономику страны, то можно сразу же прийти к коммунизму. Это была единая формула решения абсолютно всех проблем.

Как было реагировать на эти предложения? Молчать? Отделяться отписками? Но тогда их авторы слали свои предложения в ЦК, и они снова возвращались к нам.

Надо сказать, что нашлись светлые головы, которые придумали выход. Наиболее остроумным было предложение моего приятеля Кости Баева. Один сумасшедший прожектор его буквально изводил. Не успевал Костя ответить, как присылались новые предложения, пока он не выдержал и не сделал следующее (думаю, что перед этим он изрядно поломал голову). Так вот, получив очередное письмо, он попросил секретаря принести ему Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона и, положив его рядом, сел писать ответ: "Дорогой товарищ... В своем последнем письме вы затронули ряд важных вопросов развития советской экономики. Однако..." И здесь Костя наугад раскрыл словарь Брокгауза и переписал из него нечто о полевых мышах со всеми латинскими терминами и названиями. Это и положило конец переписке. Больше этот сумасшедший нам своих проектов не слал.

Внешне Костя Баев был замечательно веселым человеком. На самом деле это была трагическая фигура. Он понимал, что чего стоит и в нашем институте, и в окружающем мире. К тому же он был горбат. Личная жизнь у него не сложилась, и он покончил самоубийством.

Второй способ борьбы с сумасшедшими изобрел Пруденский. Был у нас такой доктор наук, большой мастер по части разных бюрократических выдумок. Он рекомендовал отделяться от реформаторов таким путем: в ответ на письмо должен был следовать примерно такой текст: "Дорогой товарищ!.. Ваше предложение представляет исключительный интерес. В настоящее время готовится проект постановления правительства по дальнейшему совершенствованию экономического механизма, и ваши идеи будут обязательно учтены при подготовке текста этого проекта".

Были свои реформаторы и у меня. От них я изрядно натерпелся, не прислушавшись к советам Кости Баева и Пруденского. Некий Козлов из Муромы предлагал в короткий срок построить коммунизм таким путем. Каждый день объявлять по радио, как вырос национальный доход страны. Трудящиеся, увидев, какими бурными темпами он растет, будут еще лучше работать, и за короткий срок мы построим коммунизм.

Я имел неосторожность, стремясь проявить особый такт, ответить Козлову, что он, возможно, не учел всех трудностей решения проблем. В ответ последовало еще три письма, причем одно из них — в высшие инстанции. Моя неосторожность стоила мне многих месяцев бюрократических баталий.

Да, мы были цитаделью, но это была типично советская цитадель, где куда больше времени уходило не на науку, а на всякие околонучные дела. Кто-то по полдня проводил в курилке, обсуждая мировую политику. Кто-то обивал пороги дирекции, добиваясь квартиры. Все были заняты своим — пробиванием статей, диссертаций, поисками рецензентов, банкетам, которые обычно следовали после защиты.

Я бы еще сказал и так. Это был институт монстров. Здесь и не скрывали, что его главная задача — обосновывать решения пленумов ЦК и постановлений партии и правительства. Вспоминается 1957 год. Общее собрание Института. Повестка дня: решение пленума ЦК о создании совнархозов. Ликвидировались министерства, и многие их сотрудники посылались на периферию. Предстояла такая административная чехарда, что, я думаю, если бы этот проект прислал один из наших многочисленных реформаторов, то мы просто не обошлись бы без Брокгауза и Эфрона. Но он был спущен сверху, и один за другим поднимались сотрудники Института и говорили о гениальных идеях Никиты Сергеевича Хрущева, который решил внедрить территориальные принципы управления.

Теперь я спрашиваю: кого в этой обстановке мог заинтересовать этот не от мира сего чужак Канторович с его безумными эмпириями, называемыми оптимальным планированием? Канторович был ужасно плохим лектором. Говорил он так: вначале будто набирает голос... Набирает, набирает, потом вдруг голос падает, становится низким, и сам он словно бы задумывается, иногда надолго. Рассказывали, что один раз он заснул на кафедре. И единственный, кто бесконечно верил в его идеи, был он сам. Он говорил: "Если правительство меня поддержит, то через пять-семь лет все экономисты будут рассуждать, как я. И начнется новая эра в экономике страны".

Я не был таким оптимистом и считал, что для восприятия

его идей потребуется два поколения. Наши разговоры происходили в 57-м году. Можно сказать, что полтора поколения уже прошло, но и по сей день девяносто девять процентов советских экономистов не понимают, что он сделал.

Спустя годы, когда я стал профессором МГУ и преподавал на кафедре математического анализа, мне пришлось прочесть необычный курс. К этому времени ЦК дал указание МГУ, чтобы его преподаватели политэкономии овладели математическими методами. И если они эти методы критикуют, то, по крайней мере, хотя бы знали, что критикуют.

Итак, с экономических кафедр были выделены преподаватели и в течение семестра я старательно излагал им этот курс, и уже когда кончил, должен был с сожалением констатировать, что математические методы они так и не поняли.

Казалось, что может быть проще? Мы исходим из предположения, что у экономической системы есть цель, которая указывает на то, что мы хотим. Однако, если мы чего-то хотим, это не означает, что мы можем этого достичь. Есть ограничения: ресурсы, технология и т.д. Задача в сущности заключается в следующем: так распределить наши ограниченные ресурсы, чтобы оптимальным путем прийти к поставленной цели. То есть необходимо одновременно увязать в голове определенное количество параметров — больше пяти-шести и связать их необычными логическими конструкциями. Вот тут-то и начинаются трудности. Когда Канторович говорит, что цены вытекают из плана, что они орудие составления плана, что цены — это двойственные параметры, — здравый смысл тут ничего понять не может.

Другое дело, когда мы говорим, что цена — это выражение стоимости или необходимых затрат труда, — это понимают все, но как только заходит речь о критериях полезности (на чем, собственно, и зиждется математический анализ) — так сразу же какая-то ерунда. Какая еще полезность? Какие критерии? Как все это пощупать?

Может быть, потому уже двести лет так привлекательна трудовая теория стоимости, еще до Маркса, со времен Смита и Рикардо, — что она всегда была доступна логике и здравому

смыслу. Отсталость советской экономической науки тем и объясняется, что здравый смысл пытается постигнуть экономику. Но научить людей мыслить не категориями здравого смысла трудно. По-видимому, это должно занять столько же времени, сколько требовалось для того, чтобы заставить их свыкнуться с мыслью, что Земля круглая.

Представьте, если бы мы вздумали объяснять полудиким туземцам в Африке, что Земля круглая, а они бы в ответ стали спрашивать, почему же тогда люди не ходят вниз головой? Так и в математических методах: работает уже другая логика. Эта логика построена на понимании идей двойственности, в ней всегда работают пары, а не разорванные начала. Тогда как здравый смысл привык сепарировать, вырывать часть, кусочек, элемент, но никак не брать пару.

Вспоминаю такой забавный случай. Было это в 62-м году. Как раз в этот день родился мой младший сын, Саня. Родился утром, а я прямо из родильного дома поехал на заседание дирекции. Слушался наш отчет о математическом анализе в экономике. Я старался говорить как можно популярнее. А именно, что в основе этого метода лежит возможность соизмерения благ с точки зрения их полезности. По этому параметру можно сравнивать самые различные блага, ну, например, ботинки и масло.

После моего выступления директор сказал: "Теперь вам понятно, что это за чушь? Как можно сравнивать ботинки и масло? Другое дело затраты труда. А что нам говорят? Кто это может понять?" В зале грубое молчание. И вдруг вскакивает замдиректора по хозяйственной части Нина Петровна Котлова — она тоже член дирекции: "Нет, товарищи, я лично тут ничего не понимаю!" В зале хохот. И тут еще вмешивается председатель месткома Чернышева: "Нина Петровна, сядь! Не твоего ума это дело". Это сняло напряжение, и директор предложил перейти к следующему пункту повестки дня.

Кстати, о блистательной карьере директора Института экономики Кирилла Никаноровича Плотникова. Был он помощником у министра финансов Зверева, по слухам, за его непревзойденное умение стенографировать министр сделал

Плотникова своим замом. Естественно, мастерство стенографии ему мало здесь помогло, и тогда его бросили на науку — возглавлять академический Институт экономики. Можно представить, каково было воспринимать идеи двойственности этому интеллектуалу.

Ну а как же мы тогда существовали, если нас никто не понимал? Как существовал, да еще процветал Канторович? Дело в том, что наше направление поддерживала армия. И уже поэтому нельзя было заявить, что все это антимарксизм. Да и с точки зрения марксизма мы тоже были не лыком шиты. И когда надо было, неплохо умели использовать марксистские одежды. Я, правда, потратил массу времени, но все-таки нашел у Маркса в "Нищете философии" нужную мне цитату. В 1845 году он писал, что в будущем обществе блага будут соизмеряться по их полезности. Строго говоря, эти слова противоречили всей его теории, но это уже неважно. Была найдена нужная к месту цитата, за которую многие были мне благодарны,

Чем хороши классики марксизма? Тем, что в их произведениях можно найти положительный ответ на любой заранее поставленный вопрос.

Маркс Марксом, но идея оптимальности, ох как трудно, пробивалась в жизнь. По рассказу Канторовича, прежде чем получить Нобелевскую премию, он мог дважды оказаться в лагере.

Один такой случай произошел в 1948 году. Канторович преподавал в Ленинградском университете и параллельно работал в Математическом институте им. Стеклова. Тогда-то он и принял решение опробовать свои идеи на Ленинградском заводе им. Егорова. По его предложению, на этом заводе, выпускавшем вагоны и имевшем очень большие отходы, решили начать оптимальное планирование раскроя стальных листов. За короткое время был достигнут колоссальный эффект: завод снизил отходы с 26 до 7-ми процентов. Все, казалось, шло как нельзя лучше. Но через некоторое время Канторовича приглашает секретарь Ленинградского горкома и его обвиняют чуть ли не во вредительстве. От ареста его действительно отделял лишь один шаг.

Что же выяснилось? Оказывается, завод им. Егорова долгие годы был поставщиком лома для металлургических предприятий страны. И вот после введения системы Канторовича он впервые не выполнил плана по вторчермету. А главное, не получив сырья, стали срывать один за другим задания заводы-потребители. Вопрос, кажется, дошел до Политбюро, где запросили о причинах срыва плана. Разумеется, никто и не обмолвился о прогрессивных идеях Канторовича. А просто признали ошибку. Да и что можно было объяснить, когда на все дали полторы минуты?

Смысл оптимальных задач состоит в том, что их нельзя решать локально — на одном заводе или на одном участке. Их должна была органически воспринять система. Но она-то и не была на это способна.

Примерно то же самое, что у Канторовича, произошло у меня. Но уже в начале 60-х годов на заводе малолитражных автомобилей. Мы применили оптимальное планирование в кузнечном цехе и разработали новую систему раскроя металла. Это сулило заводу гигантскую экономию. Для реализации наших идей нам почти ничего не нужно было — лишь трое дополнительных рабочих и небольшая зарплата для них. Но именно в это время в стране началась кампания по сокращению вспомогательного труда. И еще нужна нам была маленькая пристройка для оборотных заделов. И это оказалось уже совсем невыполнимым. Чтобы сделать такую пристройку, требовалось разрешение Совмина СССР. Но эти "трудности" преодолеть не удалось, и завод по-прежнему терял сотни тысяч.

СИСТЕМА "ПУ-ПУ"

Так я приходил к выводу, что в СССР создана шизофреническая экономика. Экономика с разорванными и при этом конфликтующими ценностями. Этот конфликт не мог быть разрешен в рамках советской системы. Но так как нас поддерживала армия, я еще с двумя сотрудниками ЦЭМИ Фаерманом и Овсиенко получил возможность заняться разработкой новых концепций. Главным был подход к экономике как к боль-

шой системе. А этому соответствовали совершенно новые идеи, как строить чередующиеся иерархии.

Узнав об этих идеях от своего зама, директор Института академик Федоренко ими чрезвычайно заинтересовался. В это время как раз готовилась конференция Академии наук, на которой директор должен был делать доклад. Федоренко попросил, чтобы мы подготовили текст доклада, который будет им сделан от имени Института. То есть он лишь формально представит доклад ЦЭМИ, и не более.

Я поверил, что это действительно так. Доклад, который мы написали, был настолько необычен, что когда Федоренко зачитывал некоторые места — например о цене при социализме, то в зале несколько минут стоял гул. После доклада его поздравляли, говорили, что Институт прокладывает новые пути в науке. А я был приближен к директору, стал его любимцем и настоящим фаворитом. Еще недавно я был рядовым научным сотрудником. Теперь меня назначили заведовать ведущим отделом сложных систем.

Доклад на конференции Федоренко опубликовал в журнале "Коммунист", но только за своей подписью. Моя фамилия даже не упоминалась.

Кстати, от заведования отделом я всячески отказывался. "Послушайте, — говорил я директору, — я не хочу да и не умею заниматься административной работой". Но он настаивал. "Вам что, Арон Иосифович, будет лучше, если над вами будет стоять кто-то ничего не понимающий?"

Но это было только начало. Колесо фортуны теперь стремительно вращалось в другую сторону или, как писали в старых романах, фортуна начала мне улыбаться.

Редко проходил день, когда бы директор не приглашал меня, у него был огромный кабинет, а при кабинете комната отдыха с баром, где всегда были коньяки и лучшие вина. Здесь мы подолгу сидели, обсуждали новые идеи.

Вообще, надо сказать, что это был во многом нетривиальный человек. При том, что он не был ученым, у него было глубокое уважение к подлинной науке. Достаточно сказать, что за десять лет нашей совместной работы он ни разу не сделал замечания по существу, и вообще он был, скорее, человеком

доброжелательным, чем злым, умным политиком, великолепно знавшим механизм советской системы. Он был способен мастерски поворачивать любую ситуацию в свою пользу.

Что интересно, его карьера мне всегда чем-то напоминала карьеру Сталина. Вспомним, как после смерти Ленина Сталин шел к власти. Всем заправляли Зиновьев и Каменев. Первый возглавлял международное рабочее движение. Второй руководил Совнаркомом. А Сталин? Сталин занимался рутинной, текучкой, чем-то второстепенным, какими-то там внутрипартийными делами. Рассказывали, что, когда на Политбюро обсуждали программный вопрос, он мог выйти с трубкой покурить — никто его не принимал всерьез.

Но вот проходит полгода, и в мае 1924 — Каменев вынужден разделить власть в Совнаркоме с Рыковым. Теряет власть и Зиновьев. А на XIV съезде партии они чувствуют, как Сталин подбирается к власти, но уже поздно.

Точно такая же операция продельвается с Бухариным. А возьмите, как шел к власти Хрущев? Кто его после Сталина воспринимал всерьез? Фигурой был Маленков, а Хрущева бросили на оргвопросы, на ту же аппаратную рутину, благодаря которой он и пришел к власти.

Таков был этот иерархический закон: правителем становился тот, кто занимался рутинной и в чьих руках находился аппарат. Эта не новая мысль, но я хочу подчеркнуть, что тот же иерархический закон относится не только к партии, но и, как мы увидим на примере Федоренко, к управлению наукой.

Как делал карьеру Федоренко? Вначале он опять же был никто — зав. кафедрой экономики какого-то там института тонкой химической технологии. Впрочем, он уже тогда приобрел известность исполнительного и деятельного человека и стал, кажется, даже проректором института.

И вот в 56-м году происходят такие события: Арзуманяну, который был академиком-секретарем Отделения экономики и права АН СССР, потребовался срочно зам. Сам Арзуманян человек, игравший большую роль в политике, близкий к Микояну, к тому же директор Института мировой экономики, меньше всего хотел заниматься канцелярской рутинной. Он искал хорошего организатора, и ему порекомендовали Федо-

ренко. Но чем с ним расплатиться? И вот, используя свои связи, Арзуманян проводит никому не известного зав. кафедрой химического института в член-корреспонденты Академии наук.

В 1963 году академик В.С.Немчинов создает ЦЭМИ — Центральный экономико-математический институт. Член президиума Академии наук, выдающийся ученый, Немчинов тоже ищет человека, который может взвалить на себя рутину. Он находит его в лице того же Федоренко, которого знает по отделению экономики и права. Немчинов хочет заниматься идеологией, теорией, постоянно быть наверху, а директором (чтобы взвалил на себя текучку) он делает Федоренко.

И опять надо чем-то заплатить. Чем? И теперь уже Немчинов использует свои связи и продвигает Федоренко в действительные члены Академии наук. Я сам был свидетелем того, как все происходило.

1963 год. Первое заседание дирекции с ведущими сотрудниками ЦЭМИ. Сидим в зале за большими П-образными столами. Сидят все, в том числе Федоренко. Лишь Немчинов, как подлинный владыка, расхаживает по залу и говорит о задачах института. Формально он лишь заведующий лабораторией, но он босс, хозяин и с Федоренко разговаривает сверху вниз. "Как думаете, Николай Прокофьевич, когда закончим ремонт здания, которое нам выделили?" (Институту выделили помещение бывших Екатерининских конюшен.) Но проходит три-четыре месяца, максимум полгода и знаменитый академик Немчинов со всеми его регалиями становится рядовым завлабом, а Федоренко реальным хозяином ЦЭМИ, от которого зависели все и вся. С барского плеча он раздавал кому хотел милости, а кого хотел — лишал их. Он имел огромные связи в ЦК. От него зависели степень, карьера, зарплата.

Мне бы хотелось подчеркнуть, что сталинщина — это не только расправы, тюрьмы и беззакония, но прежде всего определенная система нравственности. И в то же время это определенная модель прихода к власти и нормы поведения правителя. Я не думаю, что будет верным назвать Федоренко стопроцентным сталинистом — наверное, нет. Ему лично ни в коей мере не были присущи уголовные сталинские черты. На-

против, я бы причислил его, скорее, к либеральным правителям. Но тем интереснее, что даже в его поведении (о его пути наверх я уже говорил) выступали сталинские черты. Да, в своих речах, на банкетах он часто выступал либералом, особенно, когда говорил: "Что я? Я уже всего достиг, теперь надо думать о вас, о молодых, о вашем будущем!" (Сталин ведь тоже любил порисоваться эдаким демократом-добрячком.)

Мы знаем, что у Сталина было непревзойденное умение держать в страхе своих помощников и сотрудников — никто не был уверен, что умрет своей смертью. Либерал Федоренко обладал тем же мастерством — до рядовых он, правда, не доходил, но замы его — Шаталин и Олейник — никогда не были уверены в завтрашнем дне — уволит ли их босс, оставит ли, сравнивает ли с землей.

Но к фаворитам у Федоренко, как и у Сталина, было особое отношение. Его благосклонность означала все.

В те дни мы жили в Перово в жутких условиях: жена, теща, второй сын родился — и все в проходной комнатухе. Мы проходили через родителей, а через них и нас проходила сестра с мужем. Словом, типичная советская квартирка. После того как я перешел в ЦЭМИ, жена говорила: "Послушай, а чего бы тебе не написать академику заявление о квартире? Ты такой способный сотрудник!" Я возражал: "А почему, собственно, директор будет давать мне квартиру? Ты-то должна понимать, что такое оптимальность! У него есть цель. Его цель продвижение, и у него есть ограниченные ресурсы, главный из которых — квартиры. Кому он их будет давать? Тому, кто способствует его продвижению! Все остальное — лирика. Способный — не способный! Какое это имеет значение?!"

Так выглядела ситуация, когда я брался за новую работу. Теперь все изменилось. Однажды директор зашел в отдел и сказал: "Послушайте, Арон Иосифович, ведь это же нелепость, что наш профессор живет в таких условиях. Нужно срочно улучшить" (Ну как Сталин когда-то с Яковлевым.) И без всяких моих заявлений и ходатайств я получил трехкомнатную квартиру на Ленинском проспекте.

Затем начались поездки за границу. Раньше я не мог и заикнуться об этом. Какое там! Разве пропустит райком?! Теперь райком меня мало волновал. Все решалось за меня и без меня. Именно так было, когда я выехал в составе первой советской делегации экономистов в Югославию. В нее входили три человека: бывший вице-президент Академии наук Островитянов, замдиректора ЦЭМИ Алахвердян и я.

Мне было поручено выступить с докладом в Белградском университете по концепции оптимального планирования.

Все мы чувствовали себя свободно и в своем поведении и в высказываниях. Единственное, на что мы не имели права, это устраивать между собой публичные дискуссии. Это правило как раз и нарушил академик Островитянов. По-видимому, ему, впитавшему с молоком матери марксову политэкономии, было очень трудно выслушивать мои немарксистские идеи. И вот когда я закончил доклад, он не выдержал и воскликнул: "Позвольте, а где же у вас стоимость?! Где стоимость?" Не желая входить в полемику, я ответил: "Видите ли, Константин Васильевич, в данной связи я говорю о других вещах, этот вопрос вне поля моего рассмотрения". Но на этом не кончилось...

Принимали нас по первому классу. Каждый день по два банкета. И вот на обеде в ресторане "Охотник" в Белграде я решил как-то ответить на реплику Островитянова. А надо сказать: при том, что он был нулевой ученый, это был нетривиальный политик и человек и к тому же блестящий рассказчик, славившийся в академических кругах своим остроумием.

По дороге в ресторан он много и интересно шутил — о личной жизни академиков, о их часто очень молоденьких женах. И в ресторане, когда накрыли столы, я произнес тост: "Я предлагаю выпить за академика Островитянова, но не только за его вклад в советскую экономическую науку и не только за то, как он способствует развитию экономико-математических методов (это уже звучало двусмысленно), но и за его лепту в математическую социологию..." Дело в том, что академик Островитянов предложил формулу, как определить возраст жены действительного члена Академии наук.

Для этого нужно от ста отнять возраст академика, а остаток поделить пополам. Островитянов первый громко рассмеялся.

Тогда же, в годы моего взлета, мою кандидатуру выдвинули в член-корреспонденты Академии наук, и фамилия была уже напечатана в "Известиях". В Академию меня не пропустили. И в общем все это не имело никакого значения, если не считать бесчисленных поздравлений моих родственников. Они считали — раз напечатано в "Известиях", значит, уже академик. По аналогии с выборами в Верховный Совет — раз выдвинули — значит, уже депутат, Оба мои дядьки без конца звонили и начинали: "Послушай, Арон, — говорил дядя Иосиф, — тебя можно поздравить? Ты не стесняйся, скажи, мы же знаем, какой ты способный!" — "Да ясно, что можно", — поддерживал его дядя Абрам. Затем включались две мои тетки — тетя Цилия и тетя Геня: "Он же мог в детстве залпом прочесть всего Золя!" — "Ну при чем тут Золя?" — уже не выдерживал я, пытаюсь объяснить, что одно дело быть выдвинутым, а другое — быть утвержденным. Разубедить их не было никакой возможности. "Мы же знаем, какой он скромный!" — следовало категорическое заключение и затем на каждом углу в Перово они рассказывали о том, что их племянника Арона сделали академиком.

Но так или иначе, в течение нескольких лет я сделал головокружительную карьеру. И вдруг все стало меняться. Собственно, менялось, конечно, постепенно, исподволь, и лишь для постороннего взгляда выглядело неожиданным.

На одном из заседаний ученого совета выступил завлабораторией Ю.Черняк, который считался человеком, имеющим к науке отдаленное отношение, тем более он не был связан с тем, чем занимались мы и что считалось главным направлением в работе института. Но вдруг после его выступления встает Федоренко и объявляет:

— Идеи, высказанные Черняком, имеют большое и принципиальное значение для ЦЭМИ.

Иначе говоря, косвенно нас приравнивали к чему-то второстепенному. Тогда я еще не понял, что это было началом конца, и мысль, что моя судьба — "ученого еврея при губернато-

ре", еврейского фаворита (называйте, как хотите) тоже развивается по особым иерархическим законам, пришла ко мне позже.

Выше я говорил, как шли к власти правители, визири. Теперь пойдет речь о фаворитах, в отношении которых действует так называемая система "ПУ— ПУ"

Что такое "ПУ—ПУ"? Расшифровывается это так: приношение, уравнение, поношение и убийство.

Я уже говорил о приношениях, которые получил в те годы. Но не нужно думать, что это была только квартира, поездки за границу, благосклонность верхов. Этому сопутствовало и определенное душевное состояние, когда я был уверен, что делаю большое дело, что все мы в коалиции: директор занимается внешними делами, зам координирует работу отделов, а я генерирую идеи. Друзья и коллеги обвиняли меня в том, что я продался — а как же иначе, если принимаю приношения? Я же считал, что служу подлинной науке.

К слову сказать, если в Советском Союзе и существовала экономическая наука, то развивалась она в нашем институте. Была у него одна особенность — по уровню теоретического мышления он был самым прогрессивным, антимарксистским институтом, но в политическом смысле — самым консервативным. Мы стремились улучшить систему планирования на основе современной науки, но в рамках заданной политической структуры. В этом смысле ЦЭМИ во многом отличался от упомянутого Института экономики, в котором в политическом смысле было немало, так сказать, прогрессивных ученых, но в научном — в большинстве своем они были безграмотны.

Мы все помним так называемую косыгинскую реформу, основанную на идеях харьковского экономиста Либермана, получивших в те годы широкую известность. Либерман предлагал внедрить в советскую систему механизм прибыли. Правительство, возглавляемое в те дни Косыгиным, пыталось реализовать эти идеи в промышленности. Но, как мы помним, из этого ничего не вышло. У Либермана нашлись последователи в Институте экономики, которые хотели дальше развивать

его идеи, полагая, что они внедряют рыночное хозяйство, на самом деле они предлагали ввести нечто сходное с базаром. Дело в том, что современный рынок — это сложнейшая экономическая структура с определенной системой взаимодействия предприятий, биржами, банковским финансированием и т.д. Ничего подобного в СССР осуществить нельзя было.

Однако вернусь к своему рассказу о своей жизни в ЦЭМИ. Как я говорил, наш отдел был мозговым центром Института. Академик Федоренко был его королем. Но и роль короля была не так проста, хотя думали за него другие.

Вспоминается, как однажды нашему институту поручили подготовить доклад на заседании Президиума Академии наук. А там существовала такая практика: перед началом заседания различные институты докладывали о новых направлениях науки. На это давалось обычно полчаса, а затем уже начиналось официальное заседание. Так вот, в Академии наук меня попросили сделать доклад об оптимальном планировании. Проходит недели две. Звонок: не возражаю ли я, чтобы доклад был совместным с Федоренко. Дней через десять — снова звонок: не возражаю ли я, если фамилия Федоренко будет стоять первой. Я согласился, однако доклад так и не был сделан.

Позже я встретил своего знакомого из Президиума Академии наук, и он мне рассказал следующее. Когда решили, что Федоренко будет докладывать один, то засомневались. Хорошо, он текст прочтет. А что, если последуют вопросы, которые особенно любил задавать Капица — и вспомнили скандал, случившийся с академиком Виноградовым.

В 1962 году Виноградов выступил с докладом на Президиуме АН СССР и сообщил, что Институт языкознания намечает реформу русского языка, предложенную Хрущевым. Виноградов сказал, что в русском языке де сохранилась такая нелепость: иностранные фамилии, принадлежащие мужчинам, склоняются, а женщинам — нет. Необходимо унифицировать, чтобы не склонялись в любом случае. Тогда поднялся академик Капица и сказал: "Что же тогда получится? Вот у меня есть сосед и приятель академик Ребиндер, а у него два

кобеля. И вот гуляю я на даче и вижу кобеля — как же мне сказать? Идет кобель Ребиндер?" Капицу прервал оглушительный хохот. В академических кругах знали, что Ребиндер — большой бабник. Этот случай еще долго рассказывали как анекдот, и на этот раз просто испугались, что нечто подобное случится и с Федоренко, и от его доклада отказались вообще.

Я уже сказал, что изменения в моей жизни наступали постепенно. Федоренко все реже приглашал меня на беседы. Наш отдел его все меньше интересовал. Перелом, однако, произошел после следующего разговора. Однажды директор пригласил меня и сказал: "Арон Иосифович, как вы думаете, какая работа могла бы быть для нас сейчас самой интересной и почетной?" Я молчал. "Такой работой, — ответил он сам себе, — может стать создание учебника по политической экономии. Я хотел бы предложить, чтобы мы с вами взялись за него".

Моя фамилия столько раз исчезала последнее время из статей и докладов Института, что я не выдержал и спросил: "А какая гарантия, что мое имя не исчезнет и на этот раз?" — "А какую гарантию вы хотите?" — спросил Федоренко, холодно оглядев меня. "Ну об этом лучше подумать вам", — ответил я.

Мы расстались. И после этого директор больше меня не приглашал. Через некоторое время было созвано заседание Ученого совета, на котором Федоренко уже открыто обрушился на наш отдел. Оказывается, у нас нет никаких идей. Мы не предлагаем ничего нового и уже довольно долго топчемся на месте в отличие от другой группы — Баранова, Завельского и Данилова-Данильяна.

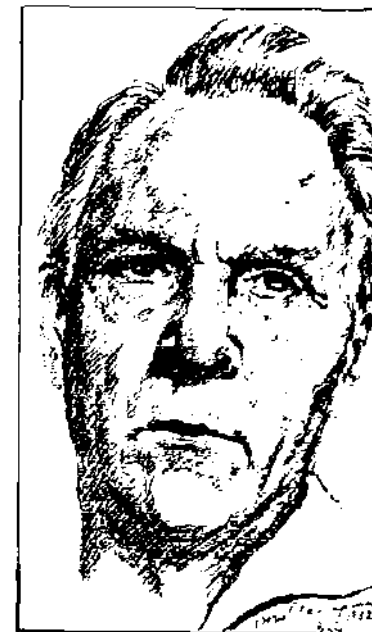
Тогда я еще не отдавал себе отчета, что в наших отношениях началась новая стадия — поношение — и дело шло к концу. Понял я это позже. Директор выжал из нас все что мог, и мы просто уже были не нужны. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

Появилась новая группа фаворитов. Это как раз те три ученых, которых я только что назвал. Они продолжали то же самое, что делали мы, но с некоторыми новыми аспектами.

По системе "ПУ—ПУ" меня, как и других еврейских фаворитов в моем положении, ждала теперь последняя стадия — "убиение". Она не замедлила наступить в связи с новой ситуацией, возникшей после того, как сотрудник нашего отдела Борис Мойшензон подал заявление о выезде в Израиль. Директор объявил, что созывается собрание отдела с моим отчетом. Я поинтересовался — будет ли обсуждаться еще какой-то вопрос. Последовал отрицательный ответ. И вот в разгар собрания, после окончания моего выступления, Федоренко поднялся и сказал: "А теперь поговорим о ситуации, сложившейся в отделе в связи с тем, что его сотрудник подал заявление о выезде". Я отказался это обсуждать. Собрание закрыли. Никто не говорил друг другу гневных слов, не последовало страшных угроз — это все-таки был академический институт, и все делалось на "академическом" уровне. Был просто издан приказ о ликвидации отдела.

В моем повествовании, как видит читатель, нет ничего сенсационного. Никто не был посажен в тюрьму, и меня до последнего дня даже не выбросили с работы. Это рассказ вообще о другом — как мало в Советском Союзе стоит личность ученого, а если говорить шире — личность человека. Его мозг используется до тех пор, пока он нужен правителю, а затем от него избавляются и находят других. Фавориты в этой системе меняются, а сама система остается, система "ПУ—ПУ", как я ее называл выше: приношение, уравнение, поношение и убийство.

Решение Советского правительства о переносе праха Шалаяпина в Москву вновь ставит перед мировой общественностью вопрос: насколько это решение отвечало воле великого русского актера? И как он относился к большевистской революции, открывшей новую эпоху в истории России — эпоху нищеты, террора и рабства? Предлагаемые читателю главы из книги Федора Шалаяпина "Маска и душа", опубликованной в СССР, были выброшены цензурой. Между тем они являются лучшим свидетельством отношения Шалаяпина к коммунистическому режиму.



Федор ШАЛЯПИН

РАЗБИТАЯ РОССИЯ

Из книги "Маска и душа"

1

Временное правительство свергнуто. Министры арестованы. Торжественно въезжает в покоренную столицу Владимир Ильич Ленин.

О людях, ставших с ночи на утро властителями России, я имел весьма слабое понятие. В частности, я не знал, что такое Ленин. Мне вообще кажется, что исторические "фигуры" складываются либо тогда, когда их везут на эшафот, либо тогда, когда они посылают на эшафот других людей. В то время расстрелы производились еще в частном порядке, так что гений Ленина был мне, абсолютно невежественному политику, мало еще заметен. Уже о Троцком я знал больше. Он ходил по театрам, и то с галерки, то из ложи грозил кулаками и говорил публике презрительным тоном: "На улицах льется народная кровь, а вы, бесчувственные буржуи, ведете себя так низко, что слушаете ничтожные пошлости, которые вам выплевывают бездарные актеришки"... Насчет Ленина же я был совершенно невежественен, и потому встречать его на

Финляндский вокзал я не поехал, хотя его встречал и Горький, который в то время относился к большевикам, кажется, враждебно.

Первым божьим наказанием мне — вероятно, именно за этот поступок — была реквизиция какими-то молодыми людьми моего автомобиля. Зачем, в самом деле, нужна российскому гражданину машина, если он не воспользовался ею для верноподданного акта встречи вождя мирового пролетариата? Я рассудил, что мой автомобиль нужен "народу", и весьма легко утешился. В эти первые дни господства новых людей столица еще не отдавала себе ясного отчета в том, чем на практике будет для России большевистский режим. И вот — первое страшное потрясение. В госпитале зверским образом матросами убиты "враги народа" — больные Кокошкин и Шингарев, арестованные министры Временного правительства, лучшие представители либеральной интеллигенции.

Я помню, как после этого убийства потрясенный Горький предложил мне пойти с ним в министерство юстиции хлопотать об освобождении других арестованных членов Временного правительства. Мы прошли в какой-то второй этаж большого дома, где-то на Конюшенной, кажется, около Невы. Здесь нас принял человек в очках и в шевелюре. Это был министр юстиции Штейнберг. В начавшейся беседе я занимал скромную позицию манекена — говорил один Горький. Взволнованный, бледный, он говорил, что такое отношение к людям омерзительно. "Я настаиваю на том, чтобы члены Временного правительства были выпущены на свободу немедленно. А то с ними случится то, что случилось с Шингаревым и Кокошкиным. Это позор для революции". Штейнберг отнесся к словам Горького очень сочувственно и обещал сделать все, что может, возможно скорее. Помимо нас, с подобными настояниями обращались к власти, кажется, и другие лица, возглавлявшие политический Красный Крест. Через некоторое время министры были освобождены.

В роли заступника за невинно-арестовываемых Горький выступал в то время очень часто. Я бы даже сказал, что это было главным смыслом его жизни в первый период больше-

визма. Я встречался с ним часто и замечал в нем очень много нежности к тому классу, которому угрожала гибель. По ласковости сердца он не только освобождал арестованных, но даже давал деньги, чтобы помочь тому или другому человеку спастись от неистовствовавшей тогда невежественной и грубой силы и бежать за границу.

Горький не скрывал своих чувств и открыто порицал большевистскую демагогию. Помню его речь в Михайловском театре. "Революция, — говорил он, — не дебош, а благородная сила, сосредоточенная в руках трудящегося народа. Это торжество труда, стимула,двигающего мир". Как эти благородные соображения разнились от тех речей, которые раздавались в том же Михайловском театре, на площадях и улицах, — от кровавых призывов к разгромам! Я очень скоро почувствовал, как разочарованно смотрел Горький на развивающиеся события и на выдвигающихся новых деятелей революции.

Опять-таки, не в первый и не в последний раз, должен сказать, что чрезвычайно мало понятна мне и странна российская действительность. Кто-нибудь скажет: такой-то — подлец, и пошла писать губерния. Каждый охотно повторяет "подлец" и легко держит во рту это слово, как дешевую конфетку. Так было в то время с Горьким. Он глубоко страдал и душу свою, смею сказать, отдавал жертвам революции, а какие-то водовозы морали распространяли слухи, что Горький только о том и думает, как бы пополнить свои художественные коллекции, на которые, дескать, тратит огромные деньги. Другие говорили еще лучше: пользуясь бедою и несчастьем ограбленных аристократов и богатых людей, Горький за гроши скупает у них драгоценные произведения искусств. Горький, действительно, увлекался коллекционированием. Но что это было за коллекционирование! То он собирал старые ружья, какие-то китайские пуговицы, то испанские гребенки и вообще всякий бзик-а-брак. Для него это были "произведения человеческого духа". За чаем он показывал нам такую замечательную пуговицу и говорил: "Вот это сработано человеком! Каких высот может достигнуть человеческий дух!"

Он создал такую пуговицу, как будто ни на что не нужную! Понимаете ли вы, как надо человека уважать, как надо любить человеческую личность?.."

Нам, его слушателям, через обыкновенную пуговицу, но с китайской резьбой, делалось совершенно ясно, что человек — прекрасное творение Божье...

Но не совсем так смотрели на человека люди, державшие в своих руках власть. Там уже застегивали и расстегивали, пришивали и отшивали другие "пуговицы".

Революция шла полным ходом...

2

Обычная наша театральная публика, состоявшая из богатых, зажиточных и интеллигентных людей, постепенно исчезла. Залы наполнялись новой публикой. Перемена эта произошла не сразу, но скоро солдаты, рабочие и простолюдины уже господствовали в составе театральных зал. Тому, чтобы простые люди имели возможность насладиться искусством наравне с богатыми, можно, конечно, только сочувствовать. Этому, в частности, должны содействовать национальные театры. И в том, что столичные русские театры во время революции стали доступны широким массам, нельзя, в принципе, видеть ничего, кроме хорошего. Но напрасно думают и утверждают, что до седьмого пота будто бы добивался русский народ театральных радостей, которых его раньше лишали, и что революция открыла для народа двери театра, в которые он раньше безнадежно стучался. Правда то, что народ в театры не шел и не бежал по собственной охоте, а был подталкиваем либо партийными, либо военными ячейками. Шел он в театр "по наряду". То в театр наряжают такую-то фабрику, то погонят такие-то роты. Да и то сказать: скучно же очень какому-нибудь фельдфебелю слушать Бетховена в то время, когда все сады частных домов объявлены общественными, и когда в этих садах освобожденная прислуга, под гармонику славного Яшки Изумрудова откалывает кадрили!.. Я понимаю милого фельдфебеля. Я понимаю его. Ведь, когда он танцует с Олимпиадой Акакиевной и в азарте танца ее крепко обнима-

ет, то он чувствует нечто весьма осязательное и бесконечно-волнующее. Что же может осязательного почувствовать фельдфебель от костлявого Бетховена?.. Надо, конечно, оговориться. Не весь народ танцевал в новых общественных садах. Были среди народа и люди, которые приходили молча вздохнуть в залу, где играют Бетховена. Они приходили и роняли чистую, тяжелую слезу. Но их, к несчастью, было ничтожнейшее меньшинство. А как было бы хорошо для России, если бы это было наоборот...

Как бы то ни было, театры и театральные люди были у новой власти в некотором фаворе. Потому ли это было, что комиссаром народного просвещения состоял А.В.Луначарский, лично всегда интересовавшийся тетром, т.е. чисто случайно; потому ли, что власть желала и надеялась использовать сцену для своей пропаганды; потому ли, что актерская среда, веселая и общительная, была приятна новым властителям, как оазис беззаботного отдыха после суровых "трудов"; потому ли, наконец, что нужно же было вождям показать, что и им не чуждо "высокое и прекрасное", — ведь вот и в Монте-Карло содержат хорошую оперу для того, чтобы, помимо возгласов крупье "faites vos jeux", благородно раздавались еще там и крики Валькирий — большевистская бюрократия к театру тяготела и театру мирволила. Но и мирволя, не давала забывать актерам, что это — "милость". Вспоминается мне в связи с этим очень характерный случай. Русские драматические актеры разыгрывали в театре Консерватории "Дон-Карлоса". Я пошел посмотреть их. Сел в партер. А поблизости от меня помещалась главная ложа, предназначавшаяся для богатых. Теперь это была начальственная ложа, и в ней с друзьями сидел коммунист Ш., заведовавший тогда Петербургом в качестве как бы полицеймейстера. Увидев меня, Ш. пригласил меня в ложу выпить с ним чашку чаю. Кажется, там был и Зиновьев, самовластный феодал недавно еще блистательной северной столицы.

За чашкой чаю Ш., увлекаясь хорошо разыгрываемой пьесой, вдруг замечает мне:

— По настоящему вас, актеров, надо уничтожать.

— Почему же?— спросил я, несколько огорошенный приятной перспективой.

— А потому, что вы способны размягчить сердце революционера, а оно должно быть твердо, как сталь.

— А для чего должно оно быть твердо, как сталь? — допрашивал я дальше.

— Чтобы его рука не дрогнула, если нужно уничтожить врага.

Я рискнул возразить петербургскому полицеймейстеру Ш., как некогда — с гораздо меньшим риском! — возразил московскому обер-полицеймейстеру ген. Трепову, сдержанно и мягко:

— Товарищ Ш., вы неправы. Мне кажется, что у революционера должно быть мягкое детское сердце. Горячий ум и сильная воля, но сердце мягкое. Только при таком сочетании революционер, встретив на улице старика или ребенка из вражеского стана, не воткнет им кинжала в живот...

Акт начинался. Пронзив меня острым взглядом выпуклых глаз, Ш. произнес совершенно неожиданную фразу, как будто не вязавшуюся с темой нашей беседы.

— Довольно скучно пить чай, Шаляпин, — не правда ли?

И затем прибавил тихо, чтобы его не слышали:

— Лучше бы нам посидеть за бутылкой хорошего вина. Интересно было бы мне с вами поговорить.

— Что же, выпьем как-нибудь, — сказал я.

Голос Ш. звучал мягко. Мне показалось, что желание "потолковать" было несомненно связано с вопросом, какое должно быть у революционера сердце...

Я подумал, помнится, что не все ясно в сердцах этих людей, официально восхваляющих непоколебимую доблесть стали...

Мы расстались с крепким рукопожатием. Но курьезно, что, хотя мы с Ш. еще не раз встречались, и именно за бутылкой вина, разговоров о революции он явно избегал. В нашем вине вопреки латинской поговорке — *in vino veritas*, — была какая-то недоговоренность...

Революция шла полным ходом. Власть обосновалась, ук-

репилась как будто и окопалась в своих твердынях, оберегаемая милиционерами, чекистами и солдатами, но жизнь, материальная жизнь людей, которым эта власть сулила счастье, становилась все беднее и тяжелее. Покатилась жизнь вниз. В городах уже показался призрак голода. На улицах, поджав под стянутые животы все четыре ноги, сидели костлявые лошади без хозяев. Сердобольные граждане, доставая где-то клочок сена, тащили их лошади, подсовывая ей этот маленький кусочек жизни под морду. Но у бедной лошадки глаза были уже залиты как бы коллодием, и она уже не видела и не чувствовала этого сена — умирала... А поздно ночью или рано утром какие-то обыватели из переулков выходили с перочинными ножиками и вырезывали филейные части лошади, которая, конечно, уже не знала, что все это делается не только для блага народа, но и для ее собственного блага...

3

В это тяжелое время однажды утром в ранний весенний день пришла ко мне группа рабочих из Мариинского театра. Делегация. Во главе делегации был инженер Э., который управлял театром. Дела б. Мариинского театра шли плохо. За недостатком средств у правительства, театр был предоставлен самому себе. Сборов не было. Публику мало интересовали запасные прапорщики искусства. И вот решено было снова обратиться к "генералу" Шаляпину... Речь рабочих и их сердечное желание, чтобы я опять вместе с ними работал, возбудили во мне дружеские чувства, и я решил вернуться в труппу, из которой меня недавно столь откровенно прогнали... Рабочие оценили мое решение, и когда я в первый раз пришел за кулисы родного театра, меня ждал чрезвычайный сюрприз. Рабочие выпилили тот кусок сцены — около метра в окружности — на котором я, дебютируя на этой сцене в 1895 году, в первый раз в качестве Мефистофеля поднялся из преисподней в кабинет Фауста. И этот кусок сцены мне поднесли в подарок! Более трогательного подарка для меня не могло быть в целом, вероятно, свете. Сколько волнений, какие биения сердца испытал я на этом куске дерева, представая перед

Фаустом и перед публикой со словами: "И я здесь!.." Где теперь этот подарок? Не знаю. Вместе со всем моим прошлым я оставил его в России, в петербургской моей квартире, которую я покинул в 1922 году и в которую не вернулся.

Но эти сентиментальные минутные переживания не облегчали жизни. Жизнь была тяжела и с каждым днем становилась тяжелее. В России то здесь, то там вспыхивала гражданская война. От этого продовольствие в столицах делалось скудным, понижаясь до крайнего минимума. Была очень трудна и работа в театре. Так как были еще в России кое-какие города на юге, где хлеба было больше, то многие артисты, естественно, устремились туда, где можно не голодать. Другим как-то удалось вырваться за границу. Так что одно время я остался почти без труппы. А играть надо. Кое-как с уцелевшими остатками когда-то огромной труппы мы разыгрывали то ту, то иную оперу... Удовлетворения это не давало.

Тяготило меня еще одно обстоятельство. Конечно, положение всех "граждан" в то время было очень тяжелое, не исключая самих революционеров. Все служащие получали пайки. Пайки были скудные. Скудны были пайки и актеров, и мой собственный паек. Но я все-таки время от времени выступал то здесь, то там, помимо моего театра, и за это получал то муку, то другую какую-нибудь провизию. Так что в общем мне было сравнительно лучше, чем другим моим товарищам. В тогдашних русских условиях меня это немного тяготило. Тяжело было чувствовать себя как бы в преимущественном положении.

Признаюсь, что не раз у меня возникало желание куда-нибудь уйти, просто бежать куда глаза глядят. Но мне в то же время казалось, что это будет нехорошо перед самим собою. Ведь революции-то ты желал, красную ленточку в петлицу вдевал, кашу-то революционную для "накопления сил" едал, — говорил я себе, — а как пришло время, когда каши-то не стало, а осталась только мякина — бежать?! Нехорошо.

Говорю совершенно искренне, я бы, вероятно, вообще оставался в России, не уехал бы, может быть, и позже, если бы некоторые привходящие обстоятельства день ото дня не стали

вспухать перед моими глазами. Вещи, которых я не замечал, о которых не подозревал, стали делаться все более и более заметными.

Материально страдая, я все-таки кое-как перебивался и жил. Если я о чем-нибудь беспокоился, так это о моих малолетних детях, которым зачастую не хватало того-другого, а то даже просто молока. Какие-то бывшие парикмахеры, ставшие впоследствии революционерами и заведовавшие продовольственными организациями, стали довольно неприлично кричать на нашу милую старую служанку и друга нашего дома, Пелагею, называя меня буржуем, капиталистом и вообще всеми теми прилагательными, которые полагались людям в галстуках. Конечно, это была частность, выходка невежественного и грубого партийца. Но таких невежественных и грубых партийцев оказывалось, к несчастью, очень много и на каждом шагу. И не только среди мелкой сошки, но и среди настоящих правителей. Мне вспоминается, например, петербургский не то воевода, не то губернатор тов. Москвин. Какой-то из моих импрессарио расклеил без его разрешения афишу о моем концерте в Петербурге. Допускаю, что он сделал оплошность, но ведь ничего противозаконного: мои концерты обыкновенно разрешались. И вот в день концерта в 6 часов вечера узнаю — концерт запрещен. Почему? Кто запретил? Москвин. Какой Москвин? — я знаю Москвина из Московского Художественного театра, тот этим не занимается. Оказывается, есть такой губернатор в Петербурге. А половину денег, полученных авансом за концерт, я уже израсходовал. И вдруг — запрещен! А еще страшно, что вообще чем-то, значит, провинился! Позвонил по телефону, вызываю губернатора Москвина:

— Как это, товарищ (а сам думаю, можно ли говорить "товарищ" — не обидится ли, приняв за издевательство?), слышал я, что вы концерт мой запретили.

— Да-с, запретил, запретили-с, сударь! — слышу я резкий, злой крик.

— Почему же, — упавшим голосом спрашиваю.

— А потому, чтобы вы не воображали много о себе. Вы думаете, что вы Шаляпин, так вам все позволено?

Голос губернатора звенел так издевательски громко, что мои семейные все слышали, и по мере того как я начинал бледнеть от возмущения, мои бедные дети и жена стали дрожать от страха. Повисли на мне и шепотом умоляли не отвечать ему резко. И то, сам я понимал, что отвечать в том духе, в каком надо бы — не надо. И мне пришлось закончить беседу просьбой:

— Уж не взыщите на этот раз, товарищ Москвин. Не поставьте мне моей ошибки в фальшь и разрешите концерт.

— Пришлите кого-нибудь — посмотрим, — смиростивился, наконец, воевода.

Эти господа составляли самую суть режима и отравляли российским людям и без того печальное существование.

Итак, я — буржуй. В качестве такового я стал подвергаться обыскам. Не знаю, чего искали у меня эти люди. Вероятно, они думали, что я обладаю исключительными россыпями бриллиантов и золота. Они в моей квартире перерывали все ковры. Говоря откровенно, в начале это меня немного забавляло и смешило. С умеренными дозами таких развлечений я готов был мириться, но мои милые партийцы скоро стали развлекать меня уже чересчур настойчиво.

Купил я как-то у знакомой балерины 15 бутылок вина и с приятелем его попробовали. Вино оказалось качеством ниже среднего. Лег спать. И вот в самый крепкий сон, часа в два ночи мой испуганный Николай, именовавшийся еще поваром, хотя варить уже нечего было, в подштаниках на босую ногу, вбегает в спальную:

— Опять пришли!

Молодые солдаты с ружьями и штыками, а с ними двое штатских. Штатские мне рапортуют, что по ордеру революционного районного комитета они обязаны произвести у меня обыск.

Я говорю:

— Недавно у меня были, обыскивали.

— Это другая организация, не наша.

— Ну, ваяйте, обыскивайте. Что делать?

Опять поднимают ковры, трясут портьеры, ощупывают по-

душки, заглядывают в печку. Конечно, никакой "литературы" у меня не было, ни капиталистической, ни революционной. Вот эти тринадцать бутылок вина.

— Забрать вино, — скомандовал старший.

И как ни уговаривал я милых гостей вина не забирать, а лучше тут же его со мною отведать, — добродетельные граждане против искушения устояли. Забрали. В игральном столе нашли карты. Не скрою, занимаюсь этим буржуазным делом. Преферансом или бриджем. Забрали. А в ночном столике моем нашли револьвер.

— Позвольте, товарищи! У меня есть разрешение на ношение этого револьвера. Вот смотрите: бумага с печатью.

— Бумага, гражданин, из другого района. Для нас она не обязательна.

Забавна была процедура составления протокола об обыске. Составлял его молодой парень, начальник из простых.

— Гриша, записал карты?

— Записал, — угрюмо отвечает Гриша.

— Правильно записал бутылки?

— Правильно. Тринадцать,

— Таперича, значит, пиши: револьверт системы... системы... какой это, бишь, системы?

Солдат все ближе к огню, старается прочитать систему, но буквы иностранные — не понимает.

— Какой системы, гражданин, ваш револьверт?

— "Веблей Скотт", — отвечаю,

— Пиши, Гриша, системы библейской.

Карты, вино, библейскую систему — все записали, забрали и унесли.

А то случались развлечения еще более забавные.

Так, какой-то архангельский комиссар со свежей семгой с полпуда подмышкой, вдребезги пьяный, пришел раз часов в 5-6 вечера, но не застал меня дома. Будучи начальством важным, он довольно развязно распорядился с Марией Валентиновной. Он сказал ей, чтобы она вообще держала своего мужа в решпекте и порядке, дабы он, когда его спрашивает начальство, был дома! — особенно, когда начальство пришло к не-

му выпить и закусить семгой, привезенной из Архангельска... Семгу он, впрочем, оставит тут до следующего визита, так как ему тяжело ее носить. Сконфуженная Мария Валентиновна сказала, что она постарается его советы и рекомендации исполнить, и прелестный комиссар, оставив семгу, ушел. Каково же было мое удивление, когда в 3 часа ночи раздался оглушительный звонок по телефону. Когда я взял трубку, я услышал:

— Что ж это ты, раз-так-такой, — спишь?

— Сплю, — робко каюсь я, оглушенный столь неожиданным приветствием.

— А я к тебе сейчас еду.

— Да как же, друг, сейчас? Мы спим.

— Так на кой же черт я семгу оставил?

Много стоило мне усилий уломать нетерпеливого гостя приехать завтра. Но приехав на другой день и снова не застав меня, он, забирая семгу, обругал жену такими словами, что смысл некоторых слов был ей непонятен.

Я принял решение положить конец такого рода развлечениям и избавиться раз навсегда от надоедливых гостей. Я решил пойти к высшему начальству, каковым был тогда Зиновьев. Долго мне пришлось хлопотать о свидании в Смольном. Наконец я получил пропуска. Их было несколько. Между прочим, это была особенность нового режима. Дойти при большевиках до министра или генерал-губернатора было так же трудно, как при старом режиме получить свидание с каким-нибудь очень важным и опасным преступником. Надо было пройти через целую кучу бдительных надзирателей, патрулей и застав.

В одной из комнат третьего этажа принял меня человек в кожаном костюме, бритый, среднего роста, с интеллигентным лбом и шевелюрой музыканта — вологодский любимец публики. Деловито спросил меня, что мне нужно. Я объяснил ему, что творится в моей квартире — рассказал о вине, картах, револьвере, семге и т.д. Я сказал при этом, что в необходимости и полезности обысков не сомневаюсь, но просил, чтобы они производились в более подходящее для меня вре-

мя. Нельзя ли, тов.Зиновьев, устроить так, чтобы это было от 8 до 10 часов вечера? Я готов ждать.

Тов. Зиновьев улыбнулся и обещал принять меры. На прощанье я ему ввернул:

— Тов.Зиновьев, Совет солдатских и матросских депутатов Ялты снял с моего текущего счета там около 200.000 рублей. Не можете ли вы также похлопотать, чтобы мне вернули эти деньги в виду продовольственного, денежного и даже трудового кризисов?

— Ну, это уж! — недовольно пожал плечами тов.Зиновьев, которому я показался, вероятно, окончательно несерьезным человеком. — Это не в моем ведении.

А по телефону, я слышал (во время беседы со мною), он говорил:

— С ними церемониться не надо. Принять самые суровые меры... Эта сволочь не стоит даже хорошей пули...

Посещение Зиновьева оказалось не бесполезным. Через два дня после моего визита в Смольный мне, к моему великому удивлению, солдаты, и уже не вооруженные, принесли 13 бутылок вина, очень хорошего качества, и револьвер. Не принесли только карт. Пригодились унтерам в казарме.

4

Мой приятель Дальский, этот замечательный драматический актер, о котором я упоминал выше, исповедовал анархическую доктрину. Он говорил, что не надо ни начальства, ни тюрем, ни законов. Вообще, ничего не надо. Снег на улице убирать тоже не надо. Он падает с неба сам по себе в один период года, когда холодно, ну, и сам же по себе растает в положенный ему другой период года. В Петербурге рассказывали, что Дальский участвовал в каких-то анархических экспроприациях. По той буйной энергии и тому присутствию духа, которыми он обладал, он, пожалуй, мог этим заниматься. Во всяком случае, когда Дальский развивал мне свои идеи в этот период моего жизненного опыта, должен признаться, мне это поверхностно нравилось больше, чем то начальство и те зако-

ны, которые вокруг меня творили жизнь. Но как же все-таки совсем без начальства? — с опаской думал я.

А "начальство" нравилось мне все меньше и меньше. Я заметил, что искренность и простота, которые мне когда-то так глубоко импонировали в социалистах, в этих социалистах последнего выпуска совершенно отсутствуют. Бросалась в глаза какая-то сквозная л ж и в о с т ь во всем. Лгут на митингах, лгут в газетах, лгут в учреждениях и организациях. Лгут в пустяках и так же легко лгут, когда дело идет о жизни невинных людей.

Почти одновременно с великими князьями арестованы были в Петербурге два моих сердечных друга — бароны Стюарты. С домом Стюартов я познакомился в 1894 году, когда я почти еще мальчиком служил в частной опере в Панаевском театре в Петербурге. Мои сверстники Стюарты только что окончили лицей. Это были добродушнейшие и очень тонко воспитанные молодые люди. Когда пришла революция, один из них, Володя, ни капли не стеснясь, надел полушубок, валеные сапоги и пошел работать грузчиком на железной дороге. Другой брат, Николай, окончивший затем медицинский факультет Харьковского Университета, старался как-нибудь практиковать, но по натуре был больше театрал и мечтатель, чем врач-натуралист. Сии Стюарты, правду говоря, не были пролетариями ни по происхождению, ни по жизни, ни по убеждениям, ни по духу. Политикой, однако, не занимались никакой. Но они были бароны, отец их служил в Государственном архиве, а в старые времена был где-то царским консулом. Бароны! Этого было достаточно для того, чтобы их в чем-то заподозрили и арестовали. В особенности, должно быть, надо было их арестовать потому, что бароны эти надевали деревенские полушубки и валенки и шли работать по разгрузке вагонов на станции железной дороги. Зная Стюартов до глубины корней их волос, я всегда и всюду мог поручиться своей собственной головой за полную их невинность. Я отправился на Гороховую улицу в Чека. Долго ходил я туда по их делу. Принимал меня любезно какой-то молодой красавец с чудной шевелюрой — по фамилии Чудин, — комиссар. Помню, у него был краси-

вый взгляд. Любезно принимал, выслушивал. Я каждый раз уверял Чудина в невинности Стюартов и просил скорее их освободить. Наконец, Чудин посоветовал мне лучше изложить все это на бумаге и подать в Чека. Я изложил. Ждал освобождения. На несчастье Стюартов где-то на верхах в то время будто бы решили не применять больше к политическим преступникам смертной казни. Об этом ожидался декрет. И вот, для того, чтобы арестованные и содержимые в тюрьмах не избегли Боже упаси, смерти, всю тюрьму расстреляли в одну ночь, накануне появления милостивого декрета! — Так ни по чем погибли мои друзья, братья Стюарты... Я узнал потом, что был расстрелян и комиссар Чудин. Увлекаясь какой-то актрисой, он помог ей достать не то меха, не то бриллианты, конфискованные властью у частных лиц. Она же, кажется, на него и донесла.

В таких же условиях были расстреляны великие князья, содержащиеся там же, где и Стюарты, в Доме Предварительного Заключения на Шпалерной.

Горький, который в то время очень горячо занимался красно-крестной работой, видимо, очень тяготился тем, что в тюрьме с опасностью для жизни сидят великие князья. Среди них был известный историк великий князь Николай Михайлович и Павел Александрович.

Старания Горького в Петербурге в пользу великих князей, по-видимому, не были успешны, и вот Алексей Максимович предпринимает поездку в Москву к самому Ленину. Он убеждает Ленина освободить великих князей, и в этом успевает. Ленин выдает Горькому письменное распоряжение о немедленном их освобождении. Горький, радостно возбужденный, едет в Петербург с бумагой. И на вокзале из газет узнает об их расстреле! Какой-то московский чекист по телефону сообщил о милости Ленина в Петербург, и петербургские чекисты поспешили ночью расстрелять людей, которых утром ждало освобождение... Горький буквально заболел от ужаса.

А Мария Валентиновна все настойчивее и настойчивее стала нашептывать мне: бежать, бежать надо, а то и нас заповадут, так же, может быть, по ошибке, как Стюартов.

Бежать... Но как? Это не так легко. Блокада. Не точно уяснял я себе, что такое блокада, но знал, что пробраться за границу во время блокады очень трудно. Мне представлялись границы, солдаты, пушки. Ни туда, ни сюда.

От сознания, что бежать трудно, мною — я помню эту минуту — очень живо — овладело отчаяние. Мне пришло в голову, а что если эта блокада будет на всю мою жизнь? Не увижу я, значит, больше ни Средиземного моря, ни Альпийских гор, ни прекрасной Швейцарии. Неужели же, подумал я, здесь, на этой Пермской улице, с ежедневными мерзостями в жизни, дразгами в театре, бесконечными заседаниями комитетов, которые не помогают делу, осложняют его, — неужели мне придется прожить всю жизнь под свинцовой крышкой петербургско-финляндского неба?

Но в то же время я сознавал, что уехать отсюда — значит покинуть родину навсегда. Как же мне оставить такую родину, в которой я сковал себе не только то, что можно видеть и осязать, слышать и обонять, но и где я мечтал мечты, с которыми жил так дружно, особенно в последние годы перед революцией? Как отказаться от дорогой мечты о шаляпинском замке искусства на Пушкинской скале в Крыму? (Об этом моем проекте расскажу особо в конце книги.) От мучительного раздвоения чувств я сильно загрустил. Ночи мои стали глуше, мертвеннее, страшнее. Самый сон мой сделался тяжелым и беспокойным. Каждую минуту я притаивал дыхание, чтобы слушать, проехал ли мимо чекистский грузовик или остановился около дома?.. Когда я, обессиленный, засыпал, то мне виделись необыкновенные, странные сны, которым я благодарен до сих пор — за то, что они изредка вырывали меня из заколдованного круга моей унылой жизни...

То мне снилась "блокада" в форме какой-то нелепой колючей изгороди, через которую я кричу жене: "Как же пробраться к тебе. Не видишь?!" А она мне протягивает красный шелковый зонтик и говорит: "Держись, я тебя перетяну на эту сторону", И я лезу — почему-то босой, хотя я в шубе... То мне снится, что я еду прекрасным сосновым лесом на рус-

ской тройке, со звучным валдайским колокольчиком под дугой. Сам правлю. И мне очень хорошо: я в Швейцарии. Но меня раздражает и немного пугает колокольчик: какая досада — услышать!.. Я его срываю и прячу в карман, а в кармане сахар... Навстречу мне велосипедист в странной фуражке, какой никогда еще не видал, но он мой поклонник. Узнал меня и говорит: "Вам, Федор Иванович, нельзя на тройке. Возьмите-ка вы лучше мой велосипед и катите по этой тропинке — интересно и безопасно". Я его неуверенно благодарю: "Как же, говорю, лошади?.." — "А об этом не беспокойтесь. Я их доставлю в театр". — "Ну, спасибо"... Мчусь на велосипеде по тропинке. Солнце, зелень, озеро. Боже, как хорошо! А я уж думал, что никогда больше Швейцарии не увижу! Спасибо велосипедисту. Вероятно, родственник нашей Пелагеи...

А то еще мне снится маленький итальянский городок. Площадка и фонтан зеленый от времени, во мху, вроде римского Тритона. Очень знакомый городок. Я же тут бывал! Стоял на этой лестнице без перил. Ну да, в этом доме живет этот портной, мой приятель. Он работал со мною в каком-то театре. Перелли? Кажется, Перелли. Зайду. Вхожу на лестницу. Бьется сердце: сейчас увижу старого приятеля, милого Перелли, которого не видел так давно. Он мне все объяснит. Куда мне ехать и где можно будет мне петь. Дверь открыта, вхожу в дом — никого. И вдруг с заднего балкона повеяло удушливым запахом хлеба, белым, свежим запахом французского хлеба!.. Я же могу купить!.. Иду к балкону и там, вижу, как дрова сложен хлеб, один на другой, один на другой... Беру один, другой, третий. От запаха голова кружится... Но где же Перелли? Надо заплатить. Неловко. И вдруг — мне делается страшно... С хлебами бросаюсь вон из дому и бегу... Трамвай... Это как раз тот, который мне нужен. Он идет на Каменноостровский проспект, к моему дому... Вскикиваю на площадку... просыпаюсь.

Просыпаюсь. Мертвая, глухая тишина. Вглядываюсь через окно в темноту ночи. На проволоках телеграфа густо повис снег...

Блокада!..

6

Не будучи политиком, чуждый всякой конспиративности, не имея на душе никаких грехов против власти, кроме затаенного отвращения к укладу жизни, созданному новым режимом, я как будто не имел оснований бояться каких-нибудь репрессий и особенных, лично против меня направленных, неприятностей. Тем не менее по человечеству, по слабости характера, я стал в последнее время чувствовать какой-то неоодолимый страх. Меня пугало отсутствие той сердечности и тех простых человеческих чувств в бытовых отношениях, к которым я привык с юности. Бывало, встречаешься с людьми, поговоришь по душе. У тебя горе — они вздохнут вместе с тобою; горе у них — посочувствуешь им. В том бедламе, в котором я жил, я начал замечать полное отсутствие сердца. Жизнь с каждым днем становилась все о ф и ц и а л ь н е е , суше, бездушнее. Даже собственный дом превращался каким-то неведомым образом в "департамент".

Я очень серьезно захворал. От простуды я очень серьезно заболел ишиасом. Я не мог двигаться и слег в постель. Не прошло и недели этого вынужденного отдыха без заработков, как мое материальное положение стало весьма критическим. Пока пел, то помимо пайков я на стороне прирабатывал кое-каких дешевых денег; перестал петь — остались одни только скудные пайки. В доме нет достаточного минимума муки, сахара, масла. Нет и денег, и немногого они стоили. Я отыскал у себя несколько завалявшихся иностранных золотых монет: это были подарки дочерям, привезенные мною из различных стран, где приходилось бывать во время гастрольных поездок. Но Арсений Николаевич, мой старый друг и эконом, особенно наклонив голову на правое плечо и взяв бородку штопором в руки, многозначительно помолчал, а потом сказал:

— Эх, Федор Иванович, на что нужны эти кругляшечки? Была игрушка, да сожрала чушка. Ничего мы не купим на это, а ежели у тебя спинжачек али сапоги есть — дай: достану. И мучки принесу, и сахар будет.

А Марья Валентиновна приходит и говорит:

— Что же мы будем делать? Сегодня совсем нет денег. Не с чем на базар послать.

— Продавайте, что есть.

— Больше уже нечего продавать, — заявляет Марья Валентиновна. И намекает, что продать дорогие бриллиантовые серьги не решается, опасно — обвинят в спекуляции — укрыли, дескать, спрятали.

И никто, никто — из друзей, из театра, никто не интересовался и не спрашивал, как Шаляпин? Знали, что болен, и говорили: "Шаляпин болен", — и каменное равнодушие. Ни помощи, ни приветов, ни простого человеческого слова. Мне, грешному человеку, начало казаться, что кое-кому, пожалуй, доставит удовольствие, если Шаляпин будет издыхать под забором. И вот эта страшная мысль, пустота и равнодушие испугали меня больше лишений, больше нужды, больше любых репрессий. В эти дни и укоренилась во мне преступная мысль — уйти, уехать. Все равно куда, но уйти. Не ради самого себя, а ради детей. Затаил я решение, а пока надо было жить, как живется.

Была суровая зима, и районному комитету понадобилось выгружать на Неве затонувшие барки для дров. Сами понимаете, какая это работа, особенно при холодах. Районный комитет не придумал ничего умнее, как мобилизовать для этой работы не только мужчин, но и женщин. Получается приказ Марии Валентиновне, ее камеристке и прачке отправляться на Неву таскать дрова.

Наши дамы приказа, естественно, испугались — ни одна из них к такому труду не была приспособлена. Я пошел в районный комитет не то протестовать, не то ходатайствовать. Встретил меня какой-то молодой человек с всклокоченными волосами на голове и с опущенными вниз мокрыми усами и, выслушав меня, нравоучительно заявил, что в социалистическом обществе все обязаны помогать друг другу.

Вижу, имею дело с болваном, и решаюсь льстить. Многозначительно сморщив брови, я ему говорю:

— Товарищ, вы — человек образованный, отлично знаете Маркса, Энгельса, Гегеля и в особенности Дарвина. Вы же

должны понимать, что женщина в высшей степени разнится от мужчины. Доставать дрова зимою, стоять в холодной воде — слабым женщинам!

Невежа был польщен, поднял на меня глаза, почмокал и рек:

— В таком случае, я сам завтра приду посмотреть, кто на что способен.

Пришел. Забавно было смотреть на Марию Валентиновну, горничную Пелагею, прачку Анисью, как они на кухне выстраивались перед ним во фронт и как он громко им командовал:

— Повернись направо.

Бабы поворачивались направо.

— Переворачивайся, как следует.

Бабы переворачивались, как следует.

Знаток Гегеля и Дарвина с минуту помолчал, потупил голову, исподлобья еще раз посмотрел и... сдался, — кажется, не совсем искренне, решив покривить революционной совестью.

— Ну, ладно. Отпускаю вас до следующей очереди. Действительно, как будто не способны...

Но зато меня, буржуя, хоть на работу в воде не погнали, считали, по-видимому, способным уплатить казне контрибуцию в 5.000.000 рублей. Мне присылали об этих миллионах повестки и назначали сроки для уплаты. Я грузно соображал, что пяти миллионов я во всю свою карьеру не заработал. Как же я могу платить? Взять деньги из банка? Но то, что у меня в банке хранилось, "народ" уже с моего счета снял. Что же это — недоразумение или глупость?

Однако приходили вооруженные люди и требовали. Ходил я в разные комитеты объясняться, урезонивать.

— Хм... У вас куры денег не клюют, — говорили мне в комитетах.

Денег этих я, конечно, не платил, а повестки храню до сих пор на добрую память.

А то получаю приказ: "сдать немедленно все оружие". Оружие у меня, действительно, было. Но оно висело на стенах. Пистолеты старые, ружья, копыя. "Коллекция". Главным об-

разом, подарки Горького. И вот домовый комитет требует сдачи всего этого в 24 часа, предупреждая, что иначе я буду арестован. Пошел я раньше в Комитет. Там я нашел интереснейшего человека, который просто очаровал меня тем, что жил совершенно вне "темпов" бурного времени. Кругом кипели страсти и обнаженные нервы метали искры, а этот комитетчик — которому все уже, по-видимому, опостылело до смерти — продолжал жить тихо, тихо, как какой-нибудь Ванька-дурачок в старинной сказке.

Сидел он у стола, подперши щеку ладонью руки и, скучая, глядел в окно, во двор. Когда я ему сказал: "Здравствуйте, товарищ!" — он не шелохнулся, как будто даже и не посмотрел в мою сторону, но я все же понял, что он ждет объяснений, которые я ему и предъявил.

— Ннадо сдать, — задумчиво, со скукой, не глядя, процедил сквозь зубы комиссар.

— Но...

— Есть Декрет, — в том же тоне.

— Ведь...

— Ннадо исполнить,

— А куда же сдать?

— Мможно сюда.

И тут комиссар за все время нашей беседы сделал первое движение. Но все-таки не телом, не рукой, не головой, — изпод неподвижных век он медленно покосился глазами в окно, как будто приглашая меня посмотреть. За окном, в снегу, валялось на дворе всякое "оружие" — пушки какие-то негодные, ружья и всякая дрянь.

— Так это же сгниет! — заметил я, думая о моей коллекции, которую годами грел в моем кабинете.

— Дда, сгниет, — невозмутимо согласился комитетчик.

Я мысленно плюнул, ушел и, разозлившись, решил отправиться к самому Петерсу.

— Оружие у меня есть, — заявил я великому чекисту, — но оно не действует: не колет, не режет и не стреляет. Подарки Горького.

Петерс милостиво оружие мне оставил. "Впредь до нового распоряжения".

Стали меня очень серьезно огорчать и дела в театре. Хотя позвали меня назад в театр для спасения дела и в первое время с моими мнениями считались, но понемногу закулисные революционеры опять стали меня одолевать. У меня возник в театре конфликт с некой дамой, коммунисткой, заведовавшей каким-то театральным департаментом. Пришел в Мариинский театр не то циркуляр, не то живой чиновник и объявляет нам следующее: бывшие Императорские театры обьелись богатствами реквизита, костюмов, декораций. А народ в провинции живет де во тьме. Не ехать же этому народу в Петербург, в Мариинский театр просвещаться! Так вот, видите ли, костюмы и декорации столицы должны были быть посланы на помощь неимущим. Пусть обслуживают провинцию.

Против этого я резко восстал. Единственные в мире по богатству и роскоши мастерские, гардеробные и декоративные Императорских театров Петербурга имеют свою славную историю и высокую художественную ценность. И эти сокровища начнут растаскивать по провинциям и районам, и пойдут они по рукам людей, которым они решительно ни на что не нужны, ни они, ни их история. Я с отвращением представлял себе, как наши драгоценные костюмы сворачивают и суют в корзинки. "Нет!" — сказал я категорически. Помню, я даже выразился, что, если за эти вещи мне пришлось бы сражаться, то я готов взять в руки какое угодно оружие.

Но бороться "буржую" с коммунистами не легко. Резон некоммуниста не имел права даже называться резонном... А петербургская высшая власть была, конечно, на стороне ретивой коммунистки.

Тогда я с управляющим театром, мне сочувствовавшим, решил съездить в Москву и поговорить об этом деле с самим Лениным. Свидание было получить не очень легко, но менее трудно, чем с Зиновьевым в Петербурге.

В Кремле, в Палате, которая в прошлом называлась, кажется, Судебной, я подымался по бесчисленным лестницам, охранявшимся вооруженными солдатами. На каждом шагу проверялись пропуска. Наконец, я достиг дверей, у которых стоял патруль.

Я вошел в совершенно простую комнату, разделенную на две части, большую и меньшую. Стоял большой письменный стол. На нем лежали бумаги, бумаги. У стола стояло кресло. Это был сухой и трезвый рабочий кабинет.

И вот из маленькой двери, из угла покатила фигура татарского типа с широкими скулами, с малой шевелюрой, с бородкой. Ленин. Он немного картавил на "р". Поздоровались. Очень любезно пригласил сесть и спросил, в чем дело. И вот я, как можно внятнее, начал рассусоливать очень простой в сущности вопрос. Не успел я сказать несколько фраз, как мой план рассусоливания был немедленно расстроен Владимиром Ильичом. Он коротко сказал:

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я все отлично понимаю,

Тут я понял, что имею дело с человеком, который привык понимать с двух слов, и что разжевывать дел ему не надо. Он меня сразу покори́л и стал мне симпатичен. "Это, пожалуй, вождь", — подумал я.

А Ленин продолжал:

— Поезжайте в Петроград, не говорите никому ни слова, а я употреблю влияние, если оно есть, на то, чтобы ваши резонные опасения были приняты во внимание в вашу сторону.

Я поблагодарил и откланялся. Должно быть, влияние было, потому что все костюмы и декорации остались на месте, и никто их больше не пытался трогать. Я был счастлив. Очень мне было бы жалко, если бы эта приятная театральная вековая пыль была выбита невежественными палками, выдернутыми из обтертых метел...

А в это самое время в театр приходили какие-то другие передовые политики-коммунисты, бывшие бутафоры, делали кислые лица и говорили, что вообще это искусство, которое разводят оперные актеры — искусство буржуазное и пролетариату не нужно. Так, зря получают пайки актеры. Работа день ото дня становилась тяжелее и неприятнее. Рука, которая хотела бы бодро подняться и что-то делать, получала удар учительской линейки.

Театральные дела, недавно побудившие меня просить сви-

дания у Ленина, столкнули меня и с другим вождем революции — Троцким. Повод, правда, был другой. На этот раз вопрос касался непосредственно наших личных актерских интересов.

Так как гражданская война продолжалась, то с пайками становилось неладно. Особенно страдали актеры от недостатка жиров. Я из Петербурга иногда ездил на гастроли в московский Большой театр. В один из таких приездов московские актеры, жалуюсь на сокращение пайков, просили меня за них при случае похлопотать.

Случай представился. Был в театре большой коммунистический вечер, на котором, между прочим, были представители правящих верхов. Присутствовал в театре и Троцкий. Он сидел в той самой ложе, которую раньше занимал великий князь Сергей Александрович.

Ложа имела прямое соединение со сценой, и я как делегат от труппы отправился к военному министру. Министр меня, конечно, принял. Я представлял себе Троцкого брюнетом. В действительности, это скорее шатен-блондин с светловатой бородкой, с очень энергичными и острыми глазами, глядящими через блестящее пенсне. В его позе — он, кажется, сидел на скамейке — было какое-то грузное спокойствие.

Я сказал:

— Здравствуйте, товарищ Троцкий!

Он, не двигаясь, просто сказал мне:

— Здравствуйте!

— Вот, — говорю я, — не за себя, конечно, пришел я просить у вас, а за актеров. Трудно им. У них уменьшили паек, а мне сказали, что это от вас зависит прибавить или убавить.

После секунды молчания, оставаясь в той же неподвижной позе, Троцкий четко, буква к букве, ответил:

— Неужели вы думаете, товарищ, что я не понимаю, что значит, когда не хватает хлеба? Но не могу же я поставить на одну линию солдата, сидящего в траншеях, с балериной, весело улыбающейся и танцующей на сцене.

Я подумал: "печально, но резонно". Вздыхнул и сказал:

— Извините, — и как то стушевался.

Я замечал не раз, что человек, у которого не удается просьба, всегда как-то стушевывается...

8

Комиссара народного просвещения А.В.Луначарского я однажды — задолго до революции — встретил на Капри у Горького. Мы сидели за завтраком, когда с книжками в руках пришел на террасу довольно стройный полублондин рыжеватого оттенка, в пенсне и в бородке а ля Генрих Четвертый. Вид он имел "нигилистический" — ситцевая косоворотка, белая в черных мушках, подпоясанная каким-то простым пояском, может быть, даже тесемкой. Он заговорил с Горьким по поводу какой-то статьи, которую он только что написал, и в его разговоре я заметил тот самый южный акцент, с которым говорят в Одессе. Человек этот держался очень скромно, деловито и мне был симпатичен. Я потом спросил Горького, кто это такой, хотя и сам понял, что это журналист. Не помню, кто в то время был в России царским министром народного просвещения; мне, во всяком случае, не приходила в голову мысль, что этот молодой в косоворотке — его будущий заместитель и что мне когда-нибудь понадобится его властная рекомендация в моем Петербурге.

А в начале большевистского режима понадобилась. Не раз А.В.Луначарский меня выручал.

В Петербурге жил он конспиративно, и долго пришлось мне его разыскивать. Нашел я его на какой-то линии Васильевского острова. Высоко лез я по грязным лестницам и застал его в маленькой комнате, стоящим у конторки, в длинном жеваном сюртуке.

— Анатолий Васильевич, помогите! Я получил извещение из Москвы, что какие-то солдаты без надлежащего мандата грабят мою московскую квартиру. Они увезли сундук с подарками — серебряными ковшками и проч. Ищут будто бы больничное белье, так как у меня во время войны был госпиталь. Но белье я уже давно роздал, а вот мое серебро пропало, как пропали 200 бутылок хорошего французского вина.

Луначарский послал в Москву телеграмму, и мою квартиру оставили в покое. Вино, впрочем, от меня не совсем ушло. Я потом изредка в ресторанах открывал бутылки вина с надписью — "envoié speciale pour Mr Chaliapine", и с удовольствием распивал его, еще раз оплачивая и стоимость его, и пошлины... А мое серебро еще некоторое время беспокоило социалистическое правительство. Приехав через некоторое время в Москву, я получил из Дома Советов бумагу, в которой мне сказано было очень внушительным языком, что я должен переписать все серебро, которое я имею дома, и эту опись представить в Дом Советов для дальнейших распоряжений. Я понимал, конечно, что больше уже не существует ни частных ложек, ни частных вилок — мне внятно и несколько раз объяснили, что это принадлежит народу. Тем не менее я отправился в Дом Советов с намерением как-нибудь убедить самого себя, что я тоже до некоторой степени народ. И в доме Советов я познакомился по этому случаю с милейшим, очаровательнейшим, но довольно настойчивым, почти резким, Л.Б.Каменевым, шурином Троцкого.

Тов.Каменев принял меня очень любезно, совсем по европейски, что меня не удивило, так как он был по европейски очень хорошо одет, но, как и прочие, он внятно мне объяснил:

— Конечно, товарищ Шаляпин, вы можете пользоваться серебром, но не забывайте ни на одну минуту, что в случае, если это серебро понадобится бы народу, то народ не будет стесняться с вами и заберет его у вас в любой момент.

Как Подколесин в "Женитьбе" Гоголя, я сказал:

— Хорошо, хорошо. Но... Но позвольте мне, товарищ Каменев, уверить вас, что ни одной ложки и ни одной вилки я не утаю и в случае надобности отдам все вилки и все ложки народу. Однако разрешите мне описи не составлять, и вот почему...

— Почему?

— Потому, что ко мне уже товарищи приезжали и серебро забирали. А если я составлю опись оставшегося, то отнимут уже по описи, то есть решительно все...

Весело посмотрел на меня мой милый революционер и сказал:

— Пожалуй, вы правы. Жуликов много.

Лев Борисович приятельски как-то расположился ко мне сразу и по поводу народа и его нужд говорил со мною еще минут пятнадцать. Мило и весело объяснял он мне, что народ исстрадался, что начинается новая эра, что эксплуататоры и вообще подлецы и империалисты больше существовать не будут, не только в России, но и во всем мире.

Это говорилось так приятно, что я подумал:

— Вот с такими революционерами как-то и жить приятнее: если он и засадит тебя в тюрьму, то по крайней мере у решетки весело пожмет руку...

Пользуясь расположением сановника, я ему тут бухнул:

— Это вы очень хорошо говорили о народе и империалистах, а надпись над Домом Советов вы сделали нехорошую.

— Как, нехорошую?

— "Мир хижинам, война дворцам". А по-моему, народу так надоели эти хижины. Вот я много езжу по железным дорогам и уже сколько лет проезжаю то мимо одного города, то мимо другого, и так неприглядно смотреть на эти мирные нужники. Вот, написали бы — "мир дворцам, война хижинам": было бы, пожалуй, лучше.

Л.Б., по моему, не очень мне на мою бутаду возражал: это, мол, надо понимать духовно...

А пока я старался понять это духовно, дома уже кто-то приходил высказывать соображения, что картины, которые у меня висят, тоже народные. Почему это вы один любуетесь на них? Хе...хе... Народ тоже картины любит...

Пожалуй, правда, — думал я. Но когда я затем видал эти картины в Берлине на выставке у антикваров, я спрашивал себя, о каком же народе он толковал:

— Русском или немецком?

Читатель, вероятно, заметил, что мои отрывочные встречи с вождами революции — министрами, градоправителями, на-

чальниками Чека — носили почти исключительно деловой характер. Вернее, я всегда являлся к ним в качестве просителя и ходатая, то за себя, то за других. Эта необходимость "просить" была одной из самых характерных и самых обидных черт советского быта. Читатель, конечно, заметил и то, что никакими серьезными привилегиями я не пользовался. У меня, как и у других горемычных русских "граждан", отняли все, что отнять можно было и чего так или иначе нельзя было припрятать. Отняли дом, вклады в банк, автомобиль. И меня, сколько могли, грабили по мандатам и без мандатов, обыскивали и третировали "буржуем". А ведь я все же был в некотором смысле лицо привилегированное, благодаря особенной моей популярности как певца. Для меня были открыты многие двери, которые для других были крепко и безнадежно закрыты. И на что же мне приходилось тратить силу престижа? Большею частью, на ограждение себя от совершенно бессмысленных придирок и покушений. Несколько неурочных обысков, несколько бутылок вина, немного серебра, несколько старых пистолетов, несколько повесток о "контрибуциях". Если я об этом рассказываю, то только потому, что эти мелочи лучше крупных событий характеризуют атмосферу русской жизни под большевиками. Если мне, Шаляпину, приходилось это переносить, что же переносил русский обыватель без связей, без протекций, без личного престижа — мой старый знакомый обыватель с флюсом и с подвязанной щекой?.. А кто тогда в России ходил без флюса? Им обзавелись буквально все люди, у которых у самих еще недавно были очень крепкие зубы...

Шел я однажды летом с моего Новинского бульвара в Кремль, к поэту Демьяну Бедному. Он был ко мне дружески расположен, и так как имел в Кремле большой вес, то часто оказывал мне содействие то в том, то в другом. И на этот раз надо было мне о чем-то его просить. Около театра "Парадиз", на Никитской улице, ко мне приблизился человек с окладистой седой бородой в широкой мягкой шляпе, в крылатке и в поношенном платье. Подошел и бухнулся на колени мне в ноги. Я остановился пораженный, думая, что имею дело с сумас-

шедшим. Но сейчас же по устремленным на меня светлым голубым глазам, по слезам, отчаянию жестов и складу просительных слов я понял, что это вполне нормальный, только глубоко потрясенный несчастьем человек.

— Господин Шаляпин! Вы — артист. Все партии — какие есть на свете — должны вас любить. Только вы можете помочь мне в моем великом горе.

Я поднял старика и расспросил его, в чем дело. Его единственному сыну, проводшему войну в качестве прапорщика запаса, угрожает смертная казнь. Старик клялся, что сын его ни в чем не повинен, и так плакал, что у меня разрывалось сердце. Я предложил ему зайти ко мне через два дня и в душе решил умолять кого надо о жизни арестованного, как старик умолял меня.

К Демьяну Бедному я пришел настолько взволнованный, что он спросил меня, что со мною случилось.

— Вы выглядите нездоровым.

И тут я заметил знакомого человека, которого я раз видал в Петербурге: это был Петерс.

— Вот, — говорит Бедный, — Петерс приехал из Киева "регулировать дела". А я думаю, куда Петере ни приезжает, там дела "иррегулируются".

Пусть он "регулирует дела" как угодно, а Петерсу я на этот раз очень обрадовался. Я рассказал им случай на Никитской улице.

— Сердечно прошу вас, товарищ Петерс, пересмотрите это дело. Я глубоко верю этому старику.

Петерс обещал. Через два дня пришел ко мне радостный, как бы из мертвых воскресший, старик и привел с собою освобожденного молодого человека. Я чувствовал, что старик из благодарности отдал бы мне свою жизнь, если бы она мне понадобилась. Спасибо Петерсу. Много, может быть, на нем грехов, но этот праведный поступок я ему никогда не забуду. Молодой человек оказался музыкантом, поступил в какую-то военную часть, дирижировал и, вероятно, не раз с того времени в торжественных случаях исполнял великий "Интернационал", как исполняет, должно быть, и по сию пору.

Кто же был этот беспомощный и беззащитный старик, падающий на колени перед незнакомым ему человеком на улице на глазах публики?

— Бывший прокурор Виленской Судебной палаты...

Вскоре после этой встречи с Петерсом случилось мне увидеть и самого знаменитого из руководителей Чека, Феликса Дзержинского. На этот раз не я искал встречи с ним, а он пожелал видеть меня. Я думаю, он просто желал подвергнуть меня допросу, но из внимания, что ли, ко мне избрал форму интимной беседы. Я упоминал уже о коммунисте Ш., который как-то жаловался, что актеры "размягчают сердце революционера" и признавался, что ему "скучно, Шаляпин, беседовать за чаем". Этот Ш. позже сделался начальником какого-то отряда армии и как-то попал в беду. Контроль обнаружил в кассе отряда нехватку в 15.000 рублей. Коммунист Ш. был мне симпатичен — он был "славный малый", не был, во всяком случае, вульгарным вором, и я не думаю, что он произвел окончательную растрату. Вероятно, какая-нибудь красивая актриса "размягчила ему сердце", и так как ему было "скучно за чаем", то он заимствовал из кассы деньги на несколько дней с намерением их пополнить. Действительно, касса была им пополнена: взял, должно быть, у кого-нибудь "в займы". Но самый факт нехватки казенных денег произвел впечатление, и делом занялся сам Дзержинский. Так как было замечено мое расположение к Ш., то Дзержинский пожелал меня выслушать. И вот, получаю я однажды приглашение на чашку чаю к очень значительному лицу и там нахожу Дзержинского.

Дзержинский произвел на меня впечатление человека сновитого, солидного, серьезного и убежденного. Говорил с мягким польским акцентом. Когда я пригляделся к нему, я подумал, что это революционер настоящий, фанатик революции, импонирующий. В деле борьбы с контрреволюцией для него, очевидно, не существует ни отца, ни матери, ни сына, ни св.Духа. Но в то же время у меня не получилось от него впечатления простой жестокости. Он, по-видимому, не принадлежал к тем отвратительным партийным индивидуумам, которые навсегда заморозили свои губы в линию ненависти и при каждом движении нижней челюсти скрежещут зубами...

Дзержинский держался чрезвычайно тонко. В первое время мне даже не приходила в голову мысль, что меня допрашивают:

Знаю ли Ш.? Какое впечатление он на меня производит? И т.д. и т.п. Наконец, я догадался, что неспроста Дзержинский ведет беседу о Ш., и сказал о нем гораздо больше хорошего, чем можно было сказать по совести. Ш. отделался легкой карой. Карьера его не прервалась, но, должно быть, пошла по другой линии. Однажды, через много лет, я в отеле "Бристоль" в Берлине неожиданно увидел моего бывшего приятеля...

— Ба, никак Ш.! — крикнул я ему.

Ш. шагнул к моему уху и сказал:

— Ради Бога, здесь никакого Ш. не существует, — и отошел.

Что это значило, я не знаю до сих пор.

Окончание в № 82



СЛОВО О КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ

В этом "Вернисаже" представлены работы двадцатидвухлетней Лады Алексейчук, недавней эмигрантки из СССР, а ныне нью-йоркской художницы. Но сам "Вернисаж", строго говоря, не только и даже, может быть, не столько о ней, сколько о новых путях современного искусства. Итак, речь пойдет о компьютерной графике.

Работы, с которыми мы знакомим читателей, сделаны без кисти и палитры, без карандаша, резца или любого другого традиционного инструмента художника. Они выполнены на компьютере. Кистью служит электронный стержень, которым художник-компьютерщик "рисует" на специальной доске, принимающей сигналы от стержня. Сложность этой работы заключается в том, что изображение возникает не на доске, а на экране компьютера. Это требует от художника своего рода искусства, поскольку рука действует вслепую — художник даже не следит за ее движением, взгляд его направлен на экран. Компьютер имеет богатейшую палитру, которой могли бы позавидовать крупнейшие современные мастера. У того, на котором работает Лада Алексейчук, — 50 тонов и полутонов. Самые мощные, выпускаемые израильской фирмой "Сайтекс", имеют 256 цветовых нюансов, то есть намного больше, чем может различить человеческий глаз. Цвет художник выбирает сам, используя для этого довольно сложную кнопочную систему управления. Тем же методом он "исправляет" композицию, передвигая изображение в разные стороны.

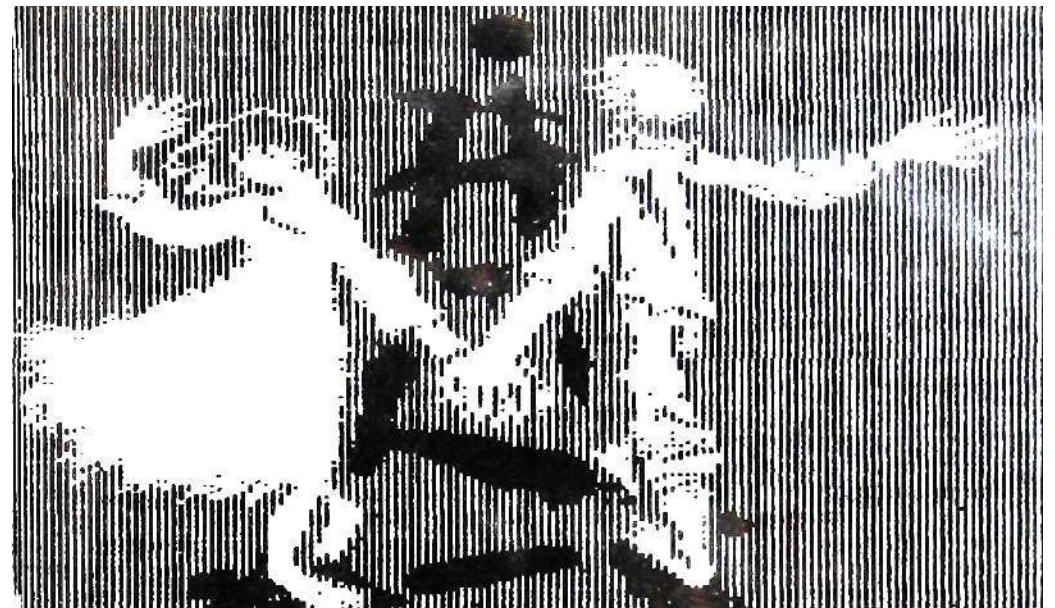
13-ти лет Лада Алексейчук эмигрировала с родителями в Канаду, а затем приехала в США. В 1978 году поступила в Нью-Йоркский университет на факультет кино и специализировалась как мультипликатор. Но везде — будь то Украина, Италия, Канада или Соединенные Штаты — она училась традиционным методам художественного творчества.

Компьютерная графика привлекла молодую художницу, как и многих ее сверстников, новизной. Освоив этот метод, она начала работать для кабельного телевидения. Те вещи, которые представлены в "Вернисаже", сделаны для шоу "Эпэл-байтц".

Лада Алексейчук, безусловно, владеет формой. Ее серия "Маски" выразительна и современна. Иллюстрации пластичны и эмоциональны. Менее интересны, хотя, может быть, с чисто технической точки зрения и более сложны, иконы. Собственно говоря, это попытка репродуцировать известные иконы с помощью компьютера. Правда, художница использует точечную фактуру, которую дает компьютер, и иконы напоминают гобелены, ткань с толстыми переплетениями нитей. Кроме того, в этих работах, возможно, сказалось пристрастие художницы к станковой живописи, которой она занималась в мастерской Отара Шукашвили, эмигрировавшего недавно в США.

Компьютерная графика делает первые шаги. Трудно сказать, в какой степени она станет искусством будущего. И тем не менее мы являемся свидетелями еще одного "бунта" компьютеров, которые, похоже, на этот раз замахнулись на святая святых, войдя в мастерскую художника.

А. КУПЕР



Иллюстрации к рассказу Эрси Дану "Одиночество"

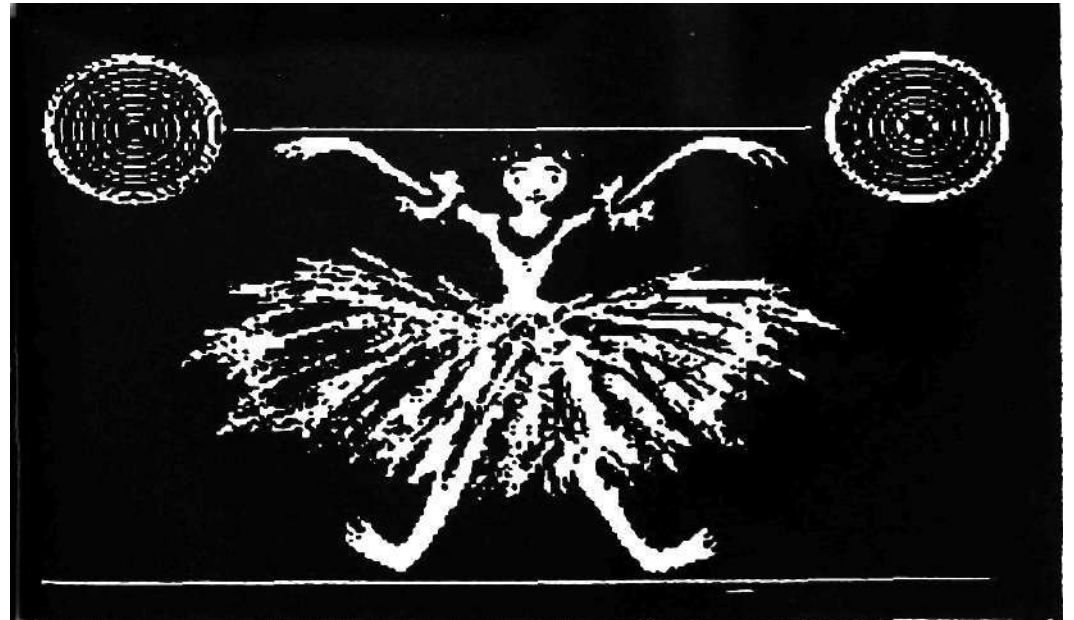
Иллюстрации к рассказу Эрси Дану "Одиночество"



Клоун. Серия "Цирк"



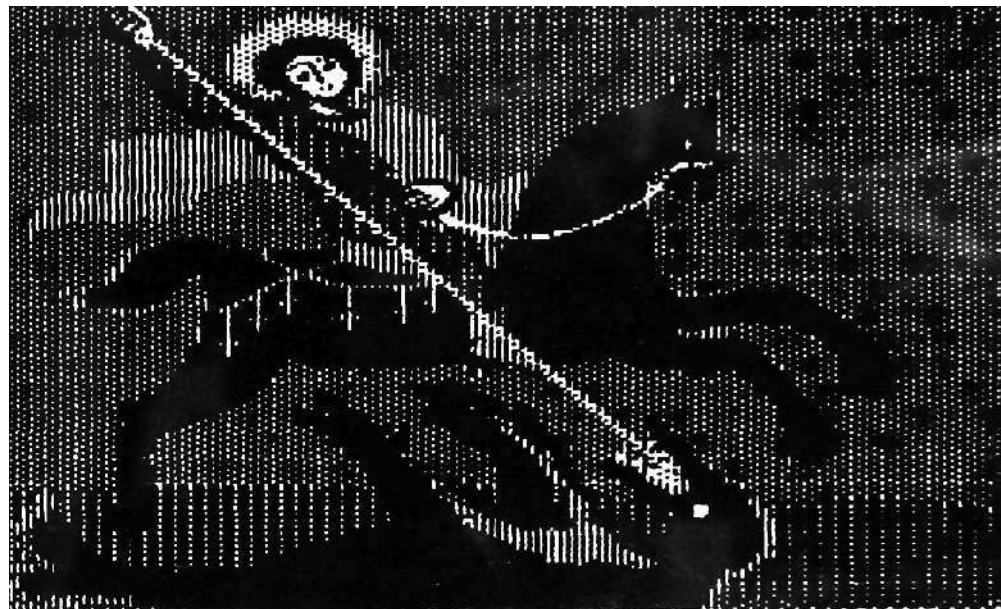
Серия "Маски"



Балерина. Серия "Цирк"



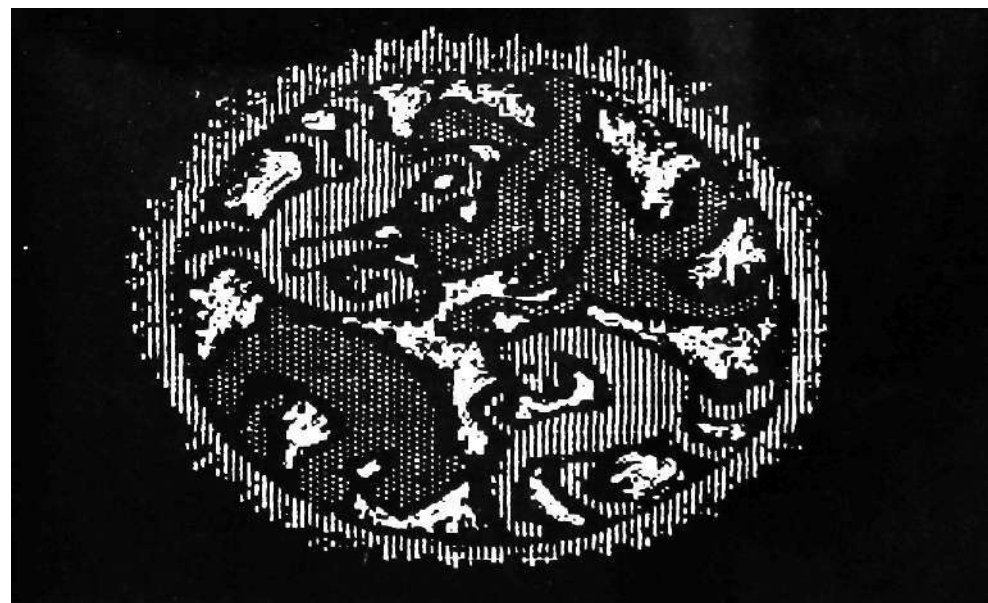
Богоматерь с младенцем



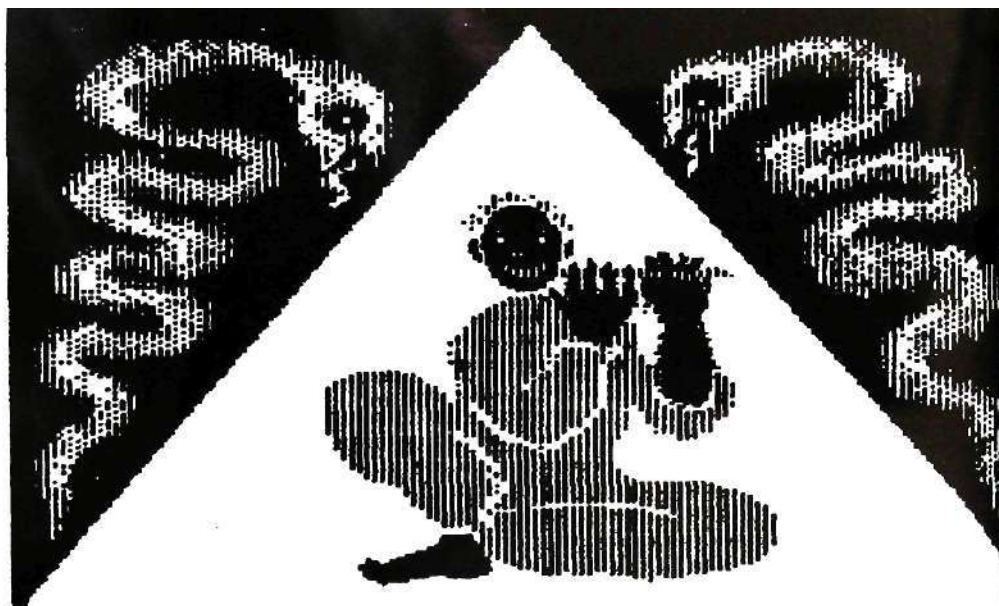
Георгий Победоносец



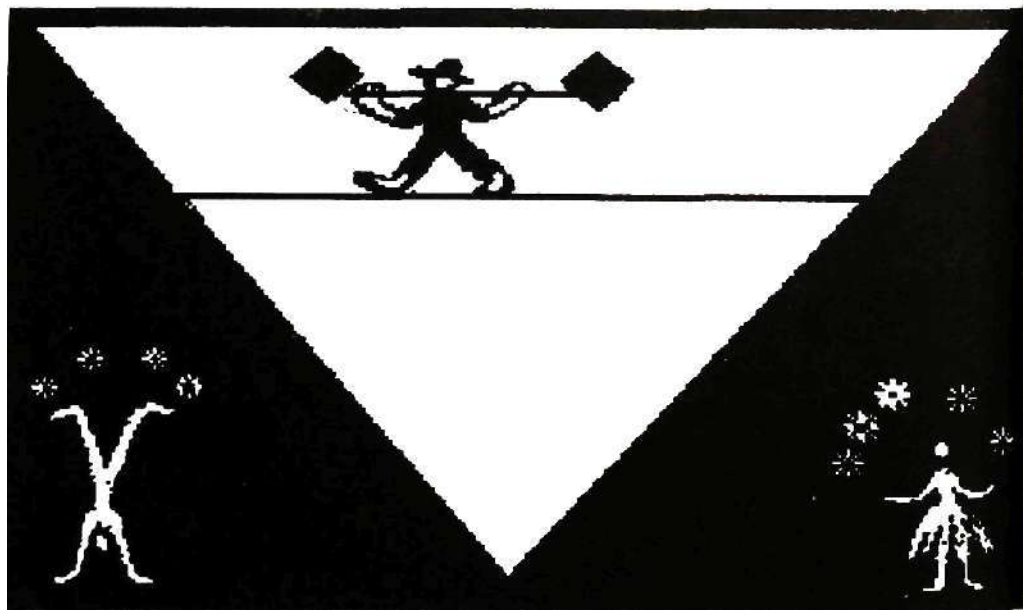
Илья Пророк



Четыре царства



Факир. Серия "Цирк"



Канатоходец. Серия "Цирк"



КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА „АРДИС“

- Саша Соколов, „Школа для дураков“. 1976.
 Саша Соколов, „Полисандрия“. 1983.
 В. Аксенов, „Ожог“. 1981.
 В. Аксенов, „Бумажный пейзаж“. 1983.
 Ф. Искандер, „Сандро из Чегема“. 1979.
 Ф. Искандер, „Кролики и удавы“. 1982.
 А. Битов, „Пушкинский дом“. 1978.
 И. Бродский, „Часть речи“. 1977.
 И. Бродский, „Новые стансы к Августе“. 1983.
 А. Цветков, „Состояние сна“. 1981.
 В. Набоков, „Приглашение на казнь“. 1976.
 В. Набоков, „Бледный огонь“. 1983.
 В. Набоков, „Дар“. 1975.
 М. Булгаков, „Собрание сочинений в 10-ти томах. 1982-
 Том 1, Ранняя проза, 1982.
 М. Булгаков, „Неизданный Булгаков“, 1977.
 И. Бабель, „Забытые произведения“, 1979.
 В. Ходасевич, „Собрание сочинений в 5-ти томах. 1983-
 Том 1, Полное собрание стихотворений. 1983.
 О. Мандельштам, „Проза“. 1982.
 А. Белый, „Почему я стал символистом“. 1982.
 „М. Цветаева — Фотобиография“. 1980.
 „М. Булгаков — Фотобиография“. 1984.
 С. Полякова, „Цветаева и Парнок“. 1982.
 А. Гладили, „Большой беговой день“. 1983.
 В. Войновч, „Иванькиада“. 1976.
 В. Войнович, „Выбор“. 1984.
 „Метрополь — литературный альманах“. 1979.
 Л. Копелев, „Утоли моя печали“. 1982.
 Р. Орлова, „Воспоминания о непрошедшем времени“. 1983.
 Ardis, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Mich. 48104

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Исаак Башевис ЗИНГЕР — выдающийся американский писатель. Родился в 1904 году в Польше. В конце 30-х годов эмигрировал в США. Сотрудничал во многих идишистских газетах и журналах. За свои литературные заслуги был удостоен Нобелевской премии 1978 года. Исааку Башевису Зингеру принадлежат романы "Враги", "Любовная история", "Шоша" и многие другие произведения, опубликованные по-английски и на других иностранных языках.

Иван ЖДАНОВ — рукопись получена по каналам самиздата. Печатается без разрешения автора.

Алексей ПРАЩИКОВ — рукопись получена по каналам самиздата. Печатается без разрешения автора.

Елена ГЕССЕН — окончила Институт иностранных языков. Работала в Московской Иностранной библиотеке. Переводчик и публицист. Эмигрировала в США в 1980 году. В настоящее время живет в Бостоне и работает в журнале "Обозрение".

Ефим ЭТКИНД — родился в 1918 г. Писатель и критик. До отъезда из СССР — член Союза писателей. Окончил Ленинградский университет. Участвовал в войне против гитлеровской Германии на Карельском и Третьем Украинском фронтах. Затем преподавал в ленинградских вузах. С 1952 по 1974 год — доцент, а затем профессор Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. В октябре 1974 г. Ефим Эткинд, уволенный с работы и лишенный ученых степеней и званий, вынужден был эмигрировать из России (см. его книгу "Записки незаговорщика" London, "Overseas Publications Interchange", 1977). Ныне — профессор Десятого Парижского университета (Нантер). Под редакцией Е.Эткинда впервые на французском языке вышли поэтические переводы А.С.Пушкина. Под его же редакцией готовятся переводы М.Ю.Лермонтова.

Марк АЛДАНОВ (1886-1957) — родился в Киеве в богатой еврейской семье. Окончил химический и юридический факультеты Киевского университета. Первые книги опубликовал в России. Но под-

линкую известность приобрел в эмиграции. В 1919 г. уехал из России в Германию. Активно сотрудничал во многих эмигрантских журналах и газетах. Автор двух десятков исторических романов и ряда публицистических книг. Произведения Марка Алданова переведены более чем на двадцать языков.

Арон КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН — родился в 1927 г. в Изяславле (Украина). В 1946 г. окончил Московский Экономический институт. В 1966 г. стал доктором наук. Работал в Центральном экономическо-математическом институте АН СССР, преподавал на экономическом факультете МГУ. В 1973 г. эмигрировал в США, где получил профессию в Пенсильванском университете. Автор девяти книг и более чем сотни статей по различным проблемам экономики, политики и теории систем.

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

Александр Орлов
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книге Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...
...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...
...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...
...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...
...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...
...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...
...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...
...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...
...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещный детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги — 15 долларов. Пересылка — 1 доллар.

Заказы и чеки высылать по адресу:

Time and We
475 Fifth ave, room 511—A
New York, New York 10017

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА И СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫШЛА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Цена книги — 15 долларов.

Заказы и чеки высылать по адресу: Time and We
475 Fifth ave, room 511 - A
New York, New York, 10017



В 1985 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература". (Статьи, 143 с.)	7.00
АКСЕНОВ, В. "Аристофаниана с лягушками". (Пьесы, 380 с.)	11.50
АКСЕНОВ, Василий. "Право на остров". (Рассказы, 180 с.)	7.00
АРАНОВИЧ, Феликс. "Надгробие Антокольского". (180 с, илл.)	9.00
АРМАЛИНСКИЙ, Михаил. "После прошлого". (Стихи, 110 с.)	5.50
БРАКМАН, Рита. "Выбор в аду". (О творч. Солженицына, 144 с.)	7.50
ВАЙЛЬ, П. ГЕНИС, А. "Современная русская проза". (192 с.)	8.50
ВИНЬКОВЕЦКАЯ, Диана. "Илюшины разговоры". (145 с, 50 илл.)	7.50
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. "Стихотворения". (160 с.)	8.00
ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта". (Роман, 145 с.)	7.00
ГОРЕНШТЕЙН, Фридрих. "Искупление". (Роман, 160 с.)	8.50
ГУБЕРМАН, Игорь. "Бумеранг". (Стихи, 120 с. Рис. Д. Мирецкого)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Заповедник". (Повесть, 128 с.)	7.50
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона". (Повесть, 128 с.)	7.50
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера". (Интервью с Растроповичем и др.)	8.00
ЕЛАГИН, Иван. "В зале Вселенной". (Стихи, 212 с.)	7.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда". (Роман, 320 с.)	10.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Как одна плоть". (Роман, 120 с.)	6.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Метаполитика". (250 с.)	7.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Практическая метафизика". (340 с.)	8.50
ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы". (160 с.)	7.50
ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ (384 с.)	13.50
КЛЕЙМАН, Людмила. "Ранняя проза Федора Сологуба". (220 с.)	14.00
КОРОТЮКОВ, А. "Нелегко быть русским шпионом". (Роман, 140 с.)	8.00
КРЕПС, Михаил. "Булгаков и Пастернак как романисты" (140 с.)	9.00
ЛОСЕВ, Лев. "Закрытый распределитель". (Очерки, 190 с.)	8.00
ЛОСЕВ, Лев. "Стихи ⁴ ". (128 с.)	7.50
ЛУНГИНА, Т. "Вольф Мессинг — человек-загадка". (270 с, 15 илл.)	12.00
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. "Маленькая Тереза" (Роман-жизнеоп., 230 с.)	9.50
МИХЕЕВ, Дмитрий. "Идеалист". (Роман, 224 с.)	8.50
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. "О синтезе в искусстве". (Альбом, 60 илл.)	12.00
ОЗЕРНАЯ, Наталия. "Русско-английский разговорник". (170 с.)	9.50
ПАПЕРНО, Д. "Записки московского пианиста". (208 с, 20 илл.)	8.00
ПОПОВСКИЙ, Марк. "Дело академика Вавилова". (280 с, 20 илл.)	10.00
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. "Стихи". (На рус, англ., фран., 140 с.)	8.50
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Бунт подсолнечника". (Роман, 240 с.)	8.50
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Звездопад". (Повести, 270 с.)	12.00
РОЗИНЕР, Феликс. "Весенние мужские игры". (Пов., рассказы, 208 с.)	8.50
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прорыв". (Роман, 560 с.)	18.00
СУСЛОВ, Илья. "Рассказы о т. Сталине и др. товарищах". (140 с.)	7.50
СУСЛОВ, Илья. "Выход к морю". (Рассказы, 230 с.)	8.50
УЛЬЯНОВ, Николай. "Скрипты". (Статьи, 230 с.)	8.00
ЧЕРТОК, Семен. "Последняя любовь Маяковского". (128 с, илл.)	7.00
ШТЕРН, Людмила. "Под знаком четырех". (Повести, 200 с.)	8.50
ШТУРМАН, Дора. "Земля за холмом". (Статьи, 256 с.)	9.00

Заказы отпр. по адресу: Hermitage, P.O.Box 410, Tenaflly, N J. 07670, USA
К сумме чека добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от числа заказываемых книг). При покупке трех и более книг — скидка 20%.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК" 1984-1985

Алексей Ремизов. Кукха. Розановы письма. 128 с.
Константин Вагинов. Козлиная песнь. Роман. 200 с.
Константин Вагинов. Труды и дни Свистунова. Роман. 178 с.
Александр Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Повесть. 196 с.
Василий Аксенов. Затоваренная бочкотара. Рандеву. 144 с.
Сергей Довлатов. Компромисс. Повесть. 128 с.
Альманах "Часть речи" № 1. 320 с. № 2-3 — 320 с. № 4-5 — 320 с.
Леонид Добычин. Встречи с Лиз. с.110 с.
Леонид Добычин. Город Эн. 110 с,
Марк Слоним. После России. Марина Цветаева в Праге и в Париже. 114 с.
Михаил Булгаков. Записки на манжетах. 128 с.
Николай Олейников. Иронические стихи. 128 с.
Венедикт Ерофеев. Глазами эксцентрика. 82 с.
Надежда Мандельштам. Мое завещание и другие эссе. 140 с.
Маркиз де Кюстин. Записки о России. 160 с.
Аполлинария Суслова. Годы близости с Достоевским. 200 с.
Василий Яновский. Американский опыт. Роман. 208 с.
Василий Яновский. Поля Елисейские. Воспоминания. 320 с.
Владислав Ходасевич. Избранная проза в двух томах
Том. 1, Белый коридор, воспоминания. 320 с.
Том 2. Колеблемый треножник. Статьи о литературе. 240 с.
Георгий Адамович. Избранная проза в двух томах
Том 1. Сомнения и надежды. Статьи о литературе. 260 с.
Том 2. Размышления и комментарии 240 с.
Андрей Платонов. Впрок. Повесть. 100 с
Яков Голосовкер. Достоевский и Кант. 140 с.
Михаил Бахтин. Формальный метод в литературоведении. 236 с.
Михаил Гершензон. Судьбы еврейского народа. 68 с.
Юрий Домбровский. Ваятель масок Иткинд. Рассказы. 110 с.
Серия "Шедевры XX века"
Генри Миллер. Тропик рака. 240 с.
Луис-Фердинанд Селин. Путешествие на край ночи. 312 с.
Олдос Хаксли. Прекрасный новый мир. 192 с.
Курт Воннегут. Царица-ночь. 187 с.
Сомерсет Моэм. Подводя итоги. 316 с.
Редактор и издатель Григорий Поляк
Silver Age Publishing.
P.O.Box 384. Rego Park. New York, 11374

Евгений Наклеушев

К ЕДИНОМУ ЗНАНИЮ

Набросок

метафилософии-метанауки-метарелигии

Эта книга откровенно парадоксальна. Ее задача — предложить систему всего вообще возможного знания, отдаленно подобную той, что построил некогда для известных и неизвестных химических элементов Менделеев. При этом автор сознает, что, в отличие от Менделеева, имеет дело с потенциально бесконечным материалом, и все же, вопреки предостережению премудрого Пруtkова Козьмы, подвизается объять необъятное. Разумеется, с точки зрения почтенного здравого смысла, это заведомо абсурдная книга. Заметим, впрочем, что так же отнесся поначалу почтенный здравый смысл к теории бесконечных множеств, квантовой механике и многому-многому другому.

Эта книга для физиков — и лириков, теологов — и людей сугубо светской культуры, для западников — и почвенников, традиционалистов — и новаторов, для всех — и против всех. Она приемлет все основные тенденции знания — и все находит узкими. Она строит синтез, с позиций которого многие тысячелетние противоречия оказываются мнимыми. Это самая всеприемлющая — и самая нетерпимая — к выжившему из ума в современной культуре — книга.

296 стр., мягкая обл. \$12.50

К сумме чека добавьте 1.50 долл. на пересылку.

Заказы направлять по адресу:

Yevgeny Nakleushev,
626 Water St., apt. 6E,

New York, NY, 10002



PEOPLE TRAVEL CLUB LTD

МАРИНА И СЕРГЕЙ КОВАЛЕВЫ ПРИГЛАШАЮТ:

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР СКАЗКИ. Флорида. Мир Диснея. Эпкот центр. Мир морских животных. Космодром — от 220 дол. и выше

ВАШИНГТОН — столица США — 1 день — 25 дол. 2 дня — 65 дол. Белый Дом, Капитолий, Библиотека Конгресса.

ПАНОРАМА КАНАДЫ — Торонто — Ниагарский водопад. Круиз среди 1000 островов. Монреаль, Квебек, Оттава — 6 дней 265 дол. — питание, экскурсии

АНГЛИЙСКАЯ КАНАДА — Торонто — Ниагара — 1000 сотровов — от 135 дол. — экскурсии, питание.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСКУРСИИ С РУССКИМ ГИДОМ

ПАРИЖСКИЕ КАНИКУЛЫ, одна неделя. Перелет, завтраки, отели, экскурсии, круиз — 595 дол. плюс 15% налог

ИЗРАИЛЬ, ЛОНДОН. ПАРИЖ, БРЮССЕЛЬ. ГААГА, АНТВЕРПЕН. АМСТЕРДАМ — особая цена 1289 дол. плюс 15% налог, включая все экскурсии, питание, перелет.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО — ГОРОД МЕЧТЫ — от 549 дол. плюс 15% налог

ЧЕТЫРЕ СТОЛИЦЫ: Лондон, Париж, Брюссель, Амстердам плюс Гаага, Антверпен — 695 дол.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ЛОНДОН — 1 неделя — 599 дол. Завтраки, перелет, отель, экскурсии.

ДВЕ НЕДЕЛИ В ИЗРАИЛЕ — от 1040 дол. и выше плюс 15% налог, питание, экскурсии, перелет, отель, круиз

ПАРИЖ — ТЕЛЬ-АВИВ, ИЕРУСАЛИМ, Беер-Шева, Цфат, Хайфа, Натания и др.города — 1040 дол. — полное питание и экскурсии, отдых у моря, круизы.

ЯПОНИЯ В ПОРУ ЦВЕТЕНИЯ ВИШНИ. — Две недели в Японии. Токио, Осака, древняя столица Киото (включая все экскурсии, завтраки. перелет — 1190 дол. плюс 15% налог)

Пребывание в Израиле, либо в Европе возможно продлить на любой промежуток времени. Предварительная запись на все объявленные экскурсии

Постоянные двухнедельные экскурсии по Западному и Восточному побережью Америки и Канады. Представители Израиля и других стран, а также жители всех городов США могут присоединяться к нашим экскурсиям в Европе либо в Израиле.

MANHATTAN. 475 5th Ave. Suite 609. New York, N.Y. 10017

Тел. (212) 725-1225

BROOKLYN. 1029 Brighton Beach Ave.

Тел. (718) 615-1616

СЛУШАЙТЕ НАШУ РАДИОПРОГРАММУ "СВОБОДНЫЙ МИР"
НА ВОЛНЕ 1330 AM КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ ОТ 7 до 8 ВЕЧЕРА

КНИГИ ЛОНДОНСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА ОРИ

- Владимир ВОЙНОВИЧ. Трибунал. Судебная комедия в 3-х действиях. Юмор и сатира на высоком художественном уровне. 76 стр. — 2 ф.ст.
- Вольфганг ЛЕОНГАРД. Революция отвергает своих детей. 590 с. — 7 ф.ст.
- Михаил ВОСЛЕНСКИЙ, Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. Предисловие Милована Джиласа. 556 с. — 12 ф.ст.
- Ален БЕЗАНСОН. Русское прошлое и советское настоящее. Перевод с франц. А. Бабича. Предисловие М. Геллера. 388 с. — 7 ф.ст.
- Вадим ДЕЛОНЕ. Портреты в колючей раме. Предисловие В. Буковского. 217 с. — 4.50 ф.ст.
- Книге присуждена премия им. Даля за 1984 г.
- Павел ТИГРИД. Рабочие против пролетарского государства. Сопротивление в Восточной Европе со смерти Сталина до наших дней. Перевод с франц. В. Рыбакова. 176 с. — 4 ф.ст.
- Евгений НИКОЛАЕВ. Предавшие Гиппократа. 328 с. — 8 ф.ст.
- Книга представляет собой ценное свидетельство о злоупотреблении психиатрией в борьбе с инакомыслящими.
- Сергей СОЛДАТОВ. Зарницы возрождения. Опыт политической борьбы и нравственного просветительства. Предисловие А. Авторханова. Вст. статья Мартина Дьюхерста. 464 с. — 10 ф.ст.
- Жорж НИВА. Солженицын. Перевод с франц. С. Маркиша в сотрудничестве с автором. 248 с. Альбом фотографий, библиография — 8 ф.ст.
- Михаил ГЕЛЛЕР. Машина и винтики. История формирования советского человека. 320 с. — 8 ф.ст.
- Дора ШТУРМАН. Мертвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина и Троцкого. 380 с. — 9 ф.ст.
- Анатолий ФЕДОСЕЕВ. О новой России. Альтернатива. 335 с. — 7.50 ф.ст.
- Феликс РОЗИНЕР. Некто Финкельмайер. 600 с. — 6 ф.ст.
- в мягком переплете, 7.50 ф.ст. в твердом
- Книга удостоена премии им. Даля за 1980 г.

КНИГИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ВО ВСЕХ РУССКИХ
КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:
Overseas Publications Interchange Ltd. 8, Queen Anne's Gardens,
London W4 1TU, England
ТРЕБУЙТЕ БЕСПЛАТНО НАШ НОВЫЙ КАТАЛОГ

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ВЫПУСК В СВЕТ КНИГА:

ДЖОН БАРРОН "КГБ СЕГОДНЯ"

Большинство наших читателей знакомо с именем Джона Баррона — автора нашумевшей книги "КГБ", переведенной на многие языки мира, в том числе и на русский.

Книга "КГБ сегодня" — новейшее исследование того же автора, рассказывающее о самых зловещих сторонах и тайных пружинах деятельности советской секретной полиции в наши дни.

На примерах подрывной деятельности КГБ в Соединенных Штатах и Японии Джон Баррон рисует зловещую картину политического бандитизма, инспирируемого Москвой во всех странах мира.

В книге подробно раскрывается механизм деятельности КГБ. Джон Баррон рассказывает о том,

КАК ДЕЙСТВУЕТ КГБ СЕГОДНЯ - И В СССР, И В ОСОБЕННОСТИ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ,

КАК ГОТОВЯТСЯ КАДРЫ БУДУЩИХ РАЗВЕДЧИКОВ И ВЕРБУЕТСЯ АГЕНТУРА НА ЗАПАДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДЫ САМЫХ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ,

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАЖА ПЕРЕДОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,

КАК КГБ ВЛИЯЕТ СЕГОДНЯ НА ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ И О МНОГОМ ДРУГОМ.

Книга написана в форме захватывающего детектива. В то же время она является важнейшим обличающим документом нашего века.

Объем книги — 432 страницы. Цена — 22 доллара.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
475 Fifth ave, suite 511-A
New York, New York
10017

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 1985

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 54 долларов; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:

Tine and We
475 Fifth Ave, suite 511-a. New York, New York 10017
Цена в розничной продаже — 8.50

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 350 франков; для библиотек — 400; с целью экономической поддержки журнала 450 франков;

— в Германии — 115 немецких марок; для библиотек — 125; с целью экономической поддержки журнала — 140 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1985

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать с номера

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу "Time and We"

**475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK.
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014**

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:
475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017

BOOK PRINTED IN ISRAEL

OCR и вычитка — Давид Титиевский, март 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой стороне обложки: Лада Алексейчук. Клоуны.

